

№ 3 • 1978

июль — сентябрь

ОГНИ КУЗБАССА





А. Фомченко. ЛАДО И ЛАДА.

Воспитанница знаменитой школы Палеха Альбина Фомченко вот уже несколько лет живет в Сибири, в Новокузнецке и не расстается со своим любимым ремеслом.

ОГНИ КУЗБАССА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 30-й



390412

№ 3(60)

В Н О М Е Р Е

СТИХИ

Валерий Зубарев. Углегор. Напарник. Живая вода.	
Солнечная сказочка.	3
Александр Раевский. Казашке. Отец. «Все гуще зори полыхают...»	26
Этюд. Луговая ночь	
Анатолий Козлов. На зорьке	70

У НАС В ГОСТЯХ ПОЭТЫ ТОМСКА

Борис Климычев. Матрос. «Пароход трубой ды- мил...» «Помню прошлой весной...» По грибы	45
Сергей Яковлев. Звезда. У друга. «Он пришел на пруд...»	46

ПРОЗА

Любовь Скорик. Лидия. Шли дожди... Собрался лед помирать. Рассказы.	5
--	---

Владимир Куропатов. Костер. Рассказ	28
Владимир Власов. Искатели бомб. Рассказ	37

ЛИЧНОСТЬ. СЕМЬЯ. ОБЩЕСТВО

Тайсия Шатская. Берегите белую птицу	48
--	----

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Виктор Моисеев. В поисках гармонии	58
--	----

СЛОВО — КРИТИКЕ

Е. Цейтлин. Достоинство таланта	68
---	----

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Р. Круссер. Негласный редактор «Сибирской газеты»	72
---	----

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ

Вадим Назаров. «Покрыты рыхлым снегом все ку- сты...» «Загуляли как-то льдины...» «Прошли веселенькие дни...»	79
Наши авторы	80

На первой странице обложки: Н. Кофанов. Кемерово. Гравюра.

Редактор В. М. МАЗАЕВ

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов, И. М. Киселев, В. Ф. Куропатов, В. В. Ма-
халов (отв. секретарь), Э. А. Чигарева, Г. Е. Юров

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский пр., 94,
тел. 6-85-14

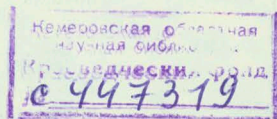
Рукописи не возвращаются

Ведущий редактор Г. Махалова, худож. редактор А. Ротовский,
техн. редактор Г. Адова, корректор В. Лузина.

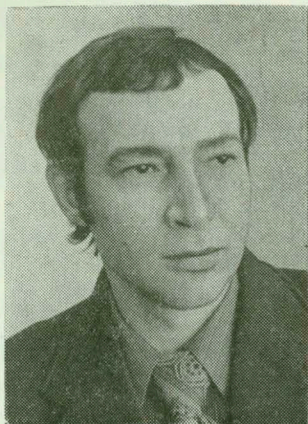
Сдано в набор 24.IV.1978 г. Подписано к печати 6.VII.1978 г.
Формат 70×90^{1/16}. Бумага типограф. № 1. Усл. печ. л. 5,85.
Уч.-изд. л. 7,28. Тираж 5000 ОП03297. Заказ 7319. Цена
50 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Но-
градская, 5. Кемеровский полиграфкомбинат. Кемерово, Но-
градская, 5

О 70500—38
М145(03)—78 27—78

© Кемеровское книжное издательство, 1978



Валерий Зубарев



УГЛЕГОР

Замаячил вдали копер...
Гой ты, город мой углегор!
И возник в черно-белых красках
он, кромсающий оком,
распинающий на контрастах
представление мое о нем.
То мне видится время вспашки,
то поющий большой верстак...
Возле звонкой многоэтажки
осовелый глухой барак.
Меж провалов и терриконов
неизбывные тополя.
За тычинками микрорайонов
колосящиеся поля.
И рекут селу горожане,
из забоя попав на ток,
дескать, к слову сказать о грани,
мы в земле понимаем толк.
Не разъять, как и крыльев птицы,
слов: добыча и урожай...

Пылью угольной и пшеницей
пахнут волосы горожан.
...Что ни город — свои повадки.
В многолюдных — такая глушь!
Там соседям с одной площадки
дела нет до соседских душ.
В клубе, если не ждут артистов,
как всегда, старики торчат.
Чинно слушают атеистов
и тихонько крестят внучат.
А в кафе раздается: «Горько!..»
И по музыке по реке
в пляске плещется —
Ты, Подгорна! —
лебедь-девочка в парике.
...Не селяне — под стать и норы,
но деревня его дала.
И в каком-нибудь из шахтеров
вякнет властно дитя села.
Голос дедушкиного счастья...
И агукнет ему горняк:
«Разорвусь я теперь на части,
но отгрохаю особняк».
Нам понятен и дух бензина,
и коровьего молока...
О гараж, где стоит машина,
будет живность чесать бока.
И останется в нашем плане
современней обставить дом...
Мы к тому же и не крестьяне,
не в деревне, поди, живем.
И замолкнет, свое итожа...
Не подбить ли и мне итог? —
Не на отрубе рос — и тоже
понимаю забой и ток.
И расплачиваюсь строкой
деревенской и городской.
И вздохнет мой нескладный город:
— Что попишешь, и я такой...

ЖИВАЯ ВОДА

Что творит живцовая водица!
Кедр так кедр, лоза так уж лоза.
Из листвы густой таращат птицы
вечно удивленные глаза.
А начнет звать к своей Пеструшке,
в мегафон преобразив ладонь,—
даже у заржавленной старушки
голос голосистый, как гармонь.
Братия лесная, луговая,
избери меня в свои друзья,—
будет у тебя другое «я»,
будет у меня другое «я»...
Что не натворит вода живая!
Крайности она сшибает лбами,
примирает как по волшебству...
Вот корова добрыми губами
убивает кроткую траву.
Умозрение это потрясает.
Но в груди ликует мужичок,
видя, как отава подрастает,
и топчет пегий новичок.

СОЛНЕЧНАЯ СКАЗОЧКА

Там, где под мотивчик весенний
огородник городил огород,
разрастается город растений,
нарождается зеленый народ.

Пусть не город...— городок,
городишко,
пусть ни окон в нем, ни дверей,
на рассвете каждый домишко
вторит бормотанью корней:

— Востечет оно на востоке,
воплотится в спеющий плод
помидора, огурца и картошки...
И на западе западет...

НАПАРНИК

По штреку — не мальчик, не парень —
я в паре вагончик толкал.
Был впору недюжий напарник,
его жестковатый оскал.
Он злился: — Задали работу.
И тут же мы в голос: — Давай!
Кричал я: — Сюда бы лебедку!
И разом опять: — Нажимай!
С породой, порожний, с породой...
За рейсом мучительный рейс.
Порой — хорошо хоть порожний —
вагончик соскакивал с рельс.
Уж славим его, ох, и славим!..
И чуть ли не в голос: — Давай!
На путь его истово ставим...
И разом опять: — Нажимай!
Какая там увлеченность!
А сила еще не пришла...
Так вышло: ожесточенность
напарником первым была.
Впрягался я в лютое дело —
да так, что трещали гужи.
И чувствовал: жесткостью тела
становится жесткость души.



Любовь Скорик

ЛИДИЯ

Кто-то неустанно тянет рельсы за горизонт, и следом за ними тянется из сердца тоненькая, нескончаемо длинная жилка. И натянута она уже до последнего предела, и все никак не порвется. Потом она наматывается на колеса такси и, наконец, припаявшись к белой круглой кнопке, мелко и часто бьется вместе с пронзительными вздрагиваниями звонка. Дверь распаивается мгновенно, а она все не может оторвать палец от обжигающей глади упругой пуговицы.

В дверном проеме, как в раме, Лидия. В глазах — сначала радость сумасшедшая. Потом — вроде разочарование и даже испуг. И, наконец, когда узнала ее, поверила в это, — снова радость, но уже другая, не та, прежняя.

— Шура! Господи, ты?!

Глаза уже обняли, вобрали ее всю. А руки тяжелые, непослушные, медлят.

— Лидуся!

У них еще не было таких разлук, а значит, и встреч подобных. Александра Николаевна вообще не помнит своей жизни без Лидии. Школа (впрочем, кажется, еще до нее), институт, свадьба, рождение детей, болезни, радости и го-

рести — что бы она ни вспоминала, везде Лида рядом. И они сами, и все вокруг всегда воспринимали их только вместе, как две половины чего-то одного, цельного. Помнится, когда ее старший брат неожиданно вдруг начал сопровождать сестру с подругой в кино и на танцы и стало ясно, что родственные чувства здесь ни при чем, она поначалу принялась яростно ревновать. Не брата родного, а Лиду к нему. И вообще ей казалось очевидным, что рядом с Лидией, такой красивой и необыкновенной, должен быть загадочный гриновский принц, а не белобрысый, долговзый, ничем не примечательный Витька. Но сама Лида считала иначе. Она преданно ждала, пока он служил в армии, потом — когда учился в институте.

Неожиданно у них сложилась идеальная семья. Не хорошая, не благополучная, а именно идеальная. Много разных семей повидала за свои сорок лет Александра Николаевна. Лучше Лиды с Виктором не жил никто. Она часто говорила, что на месте врачей посылала бы нервнобольных на излечение не на курорт, а к брату в дом. Сама она пользовалась своим рецептом сотни раз. Исцелял сам воздух этого дома, то, что

называют семейной атмосферой. Ощущение прочности, основательности, умиротворенности. Никаких изломов и надрывов. Все ровно и покойно. Хотя жизнь не раз пыталась проверить их семью на прочность. Неустроенностью быта: долго не получалось с квартирой, и они несколько лет жили в тесном родительском доме. Разлукой: Виктор учился в Ленинграде в очной аспирантуре. Болезнью: тяжело и долго болела Лида. После этого врачи запретили ей иметь ребенка. И это было, может, самое серьезное испытание. Но и в тяжелые минуты атмосфера в их доме оставалась все той же. Видно, не жизненные обстоятельства создавали ее, а они излучали ее сами. За шестнадцать лет их совместной жизни Александра Николаевна не припомнит у них ни одного скандала или даже серьезной размолвки. Поэтому, когда заходит разговор и все сходится на том, что по-настоящему счастливых семей нет, она всегда с горячностью бросается в спор, утверждая, что знает такую семью. Вернее, знала.

Когда пять лет назад в автомобильной катастрофе погиб Виктор, все они — и родственники, и друзья — очень боялись за Лидию. Она заметалась вначале, судорожно забилась, как вынутая из аквариума рыба. Рухнул привычный мир. Нечем стало дышать. И не было детей, которые могли стать опорой в такую минуту. Все вокруг стало зыбко и неустойчиво. Кроме дома, в котором все осталось по-прежнему. И она ухватилась за него как за спасение. Боялась передвинуть, переставить по-иному вещь. Пыталась сохранить все старые порядки и привычки. По-прежнему собирала у себя их общих друзей. Ходила с ними летом в дальние походы, зимой — на лыжах. Постепенно она нашла точку относительного равновесия, и через годик друзья, сговорившись, осторожно повели на нее наступление. Генка Ивлев, Лидин институтский то-

варищ и друг их семьи, никогда не скрывал своего обожания и собачьей преданности Лидии. Из-за нее и не женился. Почему бы двум отличным одиноким людям не объединить свои судьбы в одну? Но она, поняв о чем они, отнеслась к этому с таким негодованием и даже брезгливостью, что друзья отступились.

А еще через два года случилось нелепое и необъяснимое. В проектный институт, где Александра Николаевна работала вместе с Лидией, приехал в командировку некий субъект — типичный профессиональный сердцеед, пажон, болтун и нахал. За две недели успел побывать в ресторане по очереди со всеми институтскими девицами и одинокими бабенками. Пару раз сходила с ним и Лидия. А две недели спустя уволилась с работы и уехала к нему. Уехала тихонько, никому не сказав, ни с кем не поговорив. Что скрывать — они были страшно обижены. Разве они враги ей? Разве не благословили бы с радостью на новую жизнь? Но то, что произошло, было настолько дико и даже неприлично, что они старались не говорить об этом.

И вот уже два года они не виделись. Письма, правда, от Лиды приходили. Сквозь бодрый тон просачивалась неуверенность и тревога. Была в них какая-то явная недоговоренность. Сердце Александры Николаевны каждый раз вздрагивало от недобрых предчувствий. Недавно была здесь в командировке их общая знакомая. Она возвратилась в ужасе: «Лидию надо спасать. Она попала в петлю, из которой ей самой не выбраться. Доведена до предела. Смотрит, как затравленный зверек. И вообще прежней Лидии нет, от нее осталась только тень».

И вот Александра Николаевна здесь. Она проклинает себя за то, что не бросилась за Лидией сразу, не схватила и не привезла ее назад. Тогда по свежему было бы легче. Затмение может найти

на каждого. Конечно, трудно потом признать, что ошибся, вернуться к прежнему. Но у них чуткие умные друзья, никто никогда не напомнит и не намекнет. Уж она позаботится об этом. В конце концов не это главное. Главное — Лидина судьба, ее дальнейшая жизнь. Боже, сколько же она выстрадала за эти два года! Сразу видно, что тревога поднята не зря. Вот и похудела так, что со спины можно принять за подростка. Очень напоминает она сейчас ту, давнюю Лиду, времен поступления в институт. Только плечи не по-тогдашнему подняты настороженно, словно в ожидании удара. Да в глазах бездонная тревога. Хотя нет, не только это. Вместо привычного тяжелого узла на затылке — короткая, почти мальчишеская стрижка. И еще новшество — она тщательно и умело накрашена... Александра Николаевна пристально оглядела комнату. Нельзя сказать, чтобы грязь и запустение, но и руки хозяйской не чувствуется. Невольно всплыла в памяти прежняя квартира Лидии, где каждая деталь тщательно продумана, каждая вещь поставлена с любовью. Только сейчас она заметила, что стол по-праздничному накрыт. Цветы, бутылка вина, торт. Гостей, наверное, ждет. Хотя приборов всего два. Лидия перехватила взгляд гостя:

— Митю жду из командировки. Александру Николаевну резануло это сюсюкающее пошлое полуимя. Она вспомнила, что брата Лидия всегда звала Виктором, и что-то вроде ревности шевельнулось в ней. Она постаралась тут же погасить вспыхнувшую искру. Лидия засуетилась, накрывая на третьего. Александра Николаевна поехала от перспективы сидеть за столом с Д. Н. (так называла его в письмах Лидя), или, как только что выяснилось, с Митей.

Острая нервозность первых минут прошла. Они обнялись и сели на диван. Лидя учинила ей допрос про все и про всех. Александра Николаевна не

спеша, обстоятельно, в деталях, а кое-где в лицах представляла ей жизнь родных, друзей, бывших Лидиных сослуживцев. Лидя зажгла торшер, и узкий зеленоватый световой круг замкнул их в себе, прижал друг к другу. Стало хорошо и просто как прежде. Ушло, растворилось все, что принесли эти последние два года. Вдруг Лидя схватилась за руку, поднесла ближе к свету часы, и Александра Николаевна ощутила, как по телу подруги прокатилась нервная волна. Видно, Митя-то ее задерживается. Потом она глядела на часы неотрывно, словно хотела загибонтизировать стрелки. Они снова были вместе, совсем как прежде. Только стояли между ними крошечные Лидины часики, ее напряженное ожидание.

Звонок прозвучал словно электрический разряд. Лидия кинулась к двери как на крик о помощи. И только потом, сообразив, метнулась к непрерывно звонящему телефону.

— Митя, это ты? Господи, что случилось? Как ничего? Скажи мне правду — ты заболел? Митя, отвечай! Я по голосу слышу, ты заболел. Тогда почему ты еще там? Ты должен быть уже дома. Нет, Дмитрий, я знаю точно — командировка по сегодняшний день. Все, между прочим, возвращаются вовремя. Да, все. Кроме тебя. У тебя всегда производственная необходимость. Я догадываюсь, какая это необходимость. Нет, я совершенно спокойна. Абсолютно! Все-го хорошего. Надеюсь, завтра вы пожелаете домой? Алло! Девушка, почему разъединили? Я доплачу. Соедините, пожалуйста! С гостиницей. Наверное, с гостиницей. Ну, проверьте, мы же сию минуту говорили. Неужели нельзя выяснить? Алло! Алло!..

Пальцы Лидии стали белыми от напряжения. Она сжимала телефонную трубку так, словно хотела задушить ее. С трудом разжав руку, вынырнула из каких-то глубин, судорожно глотнула воздух и, кажется, удивилась, увидев

перед собой Александрю Николаевну. «Вот,— виновато сказала она,— не успела спросить, когда придет. Завтра, наверное. Конечно, завтра. Чего там долго-то делать?»

Александра Николаевна не верила своим глазам. То была не Лидия, всегда уравновешенная, спокойная, выдержанная. Не может она так кричать. Не могут звучать в ее голосе эти бабские ноты. И привычка кусать ногти — тоже не ее.

Попытались вернуться к прерванному разговору. Однако Лидия так часто отключалась, ныряя в толщу своих переживаний, что не заметила, как подруга замолчала. Очнувшись, сконфузилась, хотела что-то сказать. И вдруг слезы, давно уже, видать, кипевшие внутри, выплеснулись наружу. Они прорвались как разрушивший преграды поток, вынося наружу, словно шершавые неуклюжие глыбы, глубоко запрятанные слова.

— О, господи, когда это кончится! Не могу я больше, сил не осталось. Ты думаешь, я сумасшедшая. Нет, умом-то как раз я все прекрасно понимаю. Первая смеюсь над собой. Подумаешь, три дня в командировке — ерунда! А я ничего с собой поделывать не могу. Ведь, если бы не ты сейчас, наверное, я уже уехала туда. Поверишь, на работе вечера не могу дожидаться. Он не позвонит — я умираю. У нас в отделе смеются надо мной, так я из автомата звоню ему. Он только подумает — я бегу выполнять. Стоило ему намекнуть, что прическа у меня несовременная — я тут же обкромсала волосы. А каждая его командировка — настоящая пытка. Я всерьез думала курсы кончить и к нему шофером пойти. Что это за наважде-ние такое? Ты скажи, что это со мной?

— Может, это любовь?

— А, ты вымолвила. А я вот боюсь себе признаться. Если так, значит, что же, я почти двадцать лет с Виктором без любви жила?

— Что ты! Лидя, успокойся! Просто по-разному это бывает.

— Нет, Шура. Я себя обманываю, себе не сказала ни разу. А тебя обманывать не стану. Умом я Виктора любила. Знала, что лучше его нет и покойнее, уютнее мне не будет ни с кем. Но клянусь, я не знала, даже не догадывалась, что любят-то совсем не так. Какая же это любовь, если за два года, пока он был в Ленинграде, мы виделись каких-нибудь три-четыре раза? И никаких тебе страданий, все тихо, спокойно. Обстоятельства! Да сейчас я лбом стену прошибу, никакие обстоятельства меня не удержат. Я с ужасом вспоминаю, как сама просила Виктора потанцевать с нашими женщинами. А здесь — мы на вечер новогодний пришли. Потанцевали. Я отдохнуть села, а Митя свою начальницу пригласил. Он только руку ей на плечо положил, а у меня словно угли горячие к сердцу приложили. Нет, Шура, не любила я тогда. Да и не жила. Сорок лет почти проспала. Живу только вот эти два последних года. Очень нелегкая она, эта жизнь, но жизнь ведь. Горькое, но счастье. Самое страшное, когда я думаю, что могла бы всю жизнь свою проспять и не узнала бы, что это такое — жизнь. А ведь считала бы себя счастливой. Знаешь, рожать я решила.

— Но ведь тебе нельзя!

— Было нельзя. А сейчас можно. Теперь я все могу, что он захочет. У него много было женщин. А ребенка ему никто не родил. Я рожу.

— Вспомни о возрасте.

— Помню — почти сорок. Все равно рожу!

...Снова кто-то упорно, без передыху тянет рельсы за горизонт. И Александра Николаевна с облегчением чувствует, что уже не тянется следом за ними тоненькая жилка из сердца. Не заметила даже, где наконец наступил предел и она оборвалась. Только на месте

обрыва тихо ноет свежая рана. Моно-
тонное подрагивание вагона передается
ей, она подчиняется ему, чувствуя, как
в ней, словно в миксере, перемешивает-
ся все накопленное за эту ночь: пронзи-
тельная боль утраты — она точно зна-

ет, что никогда больше не увидит Ли-
дию, кипящая обида за брата, чувство,
похожее на ненависть к не увиденному
ей Д. Н., беспокойство за судьбу быв-
шей подруги. И еще что-то. Что же? Не-
ужели зависть?

ШЛИ ДОЖДИ...

— У проклятуший! Зарядил, теперь
будет лить до скончания века.

— Да, прорвало где-то небо.

— С ума можно сойти от этого дож-
дя!

Клавдия Петровна дернулась, чтобы
оборвать этот глупый, никчемный раз-
говор, однако сдержалась. Все три ее
товарки по палате были как на подбор
мелочно придирчивы и сварливы. Их не
устраивало буквально все: обеды, ня-
нечки, врачи. Теперь вот не угодила по-
года. От чего, действительно, можно
было сойти с ума, так это от их жалоб.
Жалуются на все: на неудобную по-
стель, невкусный суп, на отсталую ме-
дицину, плохих мужей, невнимательных
детей. Брюзжат и ворчат с утра до
ночи.

А между тем именно они, эти трое,
знают, что будут жить. Все их страхи
и сомнения позади. Впереди у них еще
сотни таких дождей, которыми они, ко-
нечно же, будут недовольны. Хотя,
впрочем, вряд ли они будут довольны
и солнечными днями. Ни одна из них
не способна порадоваться вот этому си-
нему дождливому вечеру, намокшей бе-
резовой ветке, прильнувшей к оконному
стеклу, цветку в молочной бутылке на
тумбочке и просто своей причастности к
жизни. Она одна из них в этой пропи-
танной лекарствами комнате способна

жить по-настоящему, в полную силу, не
обращая внимания на мелочи, принимая
жизнь такой, как она есть, радуясь каж-
дому прожитому мгновению. Она одна...
Но как раз она-то уже отсечена, отде-
лена от жизни. То есть со стороны
кажется, что она живет. Но это уже
только видимость жизни. Зачем так? За
что? Почему именно она?

Клавдия Петровна почувствовала, как
злорада переполняет ее, подступая к гор-
лу,— и испугалась этого чувства в себе.
Нет, только не это! Стыдно завидовать
тем, кто остается жить. Но во сто крат
более отвратительно и мерзко злобство-
вать на них. Нет, она не опустится до
этого! Вспомнилось, как в детстве пря-
тались они от бабки Мирониhi. В дол-
гой жизни своей не обидившая, пожа-
луй, даже мухи, Мирониhi, почуя близ-
кую смерть, превратилась в настоящую
бабу-ягу. Часами подкарауливала она
их, ребятишек, чтобы схватить одного
из них и своими немощными, высохши-
ми, холодными руками прижимала к се-
бе, должно быть, в надежде, что хоть
капля юной силы, здоровья и тепла пе-
рельется в нее. Она и умерла, прижимая
кого-то невидимого к груди. На ее кро-
шечном усохшем личике застыло хищ-
ное злорадство, что не одна она уходит
в могилу. Стылая жуть поднимается в
груди всякий раз, когда воскресает в
памяти злобно-завистливый, зовущий

за собой, уже потусторонний, устремленный на все живое взгляд Миронихи.

Неужели теперь она сама способна уподобиться этой карге?! Все возмущенно поднялось в ней от одной только этой параллели. Нет, не может быть! Но если даже Миронихе, прожившей без малого сто лет, не хотелось умирать, то почему с этим должна смириться она, не отмерившая и половины этого срока? И потом — что держало на земле Мирониху? Теплая печь и сладкая каша. А как же ей-то вырвать из жизни свои корни, которые по-настоящему глубоки и обширны? Как расстаться с работой, к которой бессмысленно прибавлять эпитет «любимая», потому что это слишком мало. Просто работа — это часть ее самой, часть настолько важная, что без нее и жить нельзя. Как уйти навсегда от мужа, который одновременно и любимый мужчина, и товарищ по работе, и настоящий друг? Возможно ли оторвать ее от детей, которых она выносила, в муках родила, наделила своими чертами лица и характера?

Это невыносимо! Надо запретить себе думать об этом. В конце концов она достаточно образованный и мужественный человек, чтобы все понять и принять как подобает. Клавдия Петровна действительно полежала несколько минут бездумно, вслушиваясь во всхлипы за окном. И вдруг ее захлестнула волна благодарности к этому неустанному и немолчному дождю. Он — из той, прежней ее жизни. Да это же подарок ей, награда за ее теперешнее мужество, а может быть, аванс за будущее, которое от нее теперь обязательно потребуется. Разве не сама жизнь, пребывающая уже в некотором отдалении от нее, стучится этим дождем не в больничное окно, а прямо в сердце к ней — вся ее совсем даже неплохо и не зря прожитая жизнь. Сколько было в этой жизни разных дождей!

...Яркое солнце и прямо из него протянутые к земле прозрачные золотистые

нити. Это совсем как в сказке — солнце и дождь рядом. Она подставляет им лицо, руки, спину. И первое в жизни озарение: вот это она, она есть, существует, она была всегда и будет вечно.

...Они с отцом на покосе. Лохматая чернильная туча надвигается на них. Они спешат сгрести подсохшую уже траву и не успевают. Туча обрушивается на них, втягивает их в самое свое непроглядное нутро. В наступившей вдруг ночи происходит какое-то движение, земля и небо соединяются, и вот уже невозможно понять — это она бежит по упавшей под ноги туче или же туча всей тяжестью своей легла на нее, опутала руки и ноги. Водяной вал настигает ее, придавливает книзу. Целая река, нет, — несколько рек разом обрушиваются ей на голову. Она садится на корточки, пытается спрятать голову в коленях, уверенная, что все кончилось: день, солнце, жизнь. Ей хочется закричать, и тут она чувствует отцовские руки. Он прижимает дочь к себе, телом своим, громадными ладонями защищая ее. И водяной водоворот перед ним отступает, сдается. Ей становится жутко и весело сразу. Вот какой у нее отец! С ним ничего не страшно. Он всегда защитит ее, прикроет собой. Туча уходит так же стремительно, как пришла. Солнце еще ярче, чем до этого. А они с отцом смотрят друг на друга и хохочут. Хотят остановиться и не могут.

...Первая любовь у нее была поздней, уже в институте, и оттого, наверное, такой сумасшедше бурной. Они вдвоем на «своей» скамейке в городском саду. Он берет ее руку в свою и тихонько гладит. Это все, что они позволяют себе. Ей некогда переживать и волноваться — она занята только одним: сдерживать, затаить дыхание, чтобы сердце не колотилось так беззастенчиво громко. Несколько увесистых предупредительных капель сверху. Пауза. И вдруг хлынуло! Она инстинктивно, в поисках укрытия подалась к нему, и он с готовностью

принял ее в объятия. Дождь прижал их друг к другу. Был он ласковым, теплым, но в минуту промочил их насквозь. Мимо них бежали люди, спеша в укрытия. А они удивленно смотрели на бегущих: разве может где-то в целом мире быть лучше, чем в том головокружительном хаосе из опрокинувшегося, пролившегося неба и рванувшейся навстречу ему каждой былинкой своей земли? Ей было жарко, казалось, дождевые капли, коснувшись кожи, должны закипать.

Она приоткрыла губы и стала ловить ими водяные струи. Он — тоже. Должно быть, в какой-то момент они нацелились на одну и ту же каплю, и потому губы их встретились. Это был первый в ее жизни поцелуй. Наверное, у него тоже... Они целовались иступленно, без устали. Он обнимал ее неумело, неуклюже. Его робкие, застенчивые руки гладили ее щеки, лоб, перебирали мокрые волосы и, коснувшись шеи, замирали. Потом они, уже посветлу, разувшись, взявшись за руки, брели к ее общежитию по сплошной реке на дороге. Она не чувствовала губ, ей казалось — их у нее нет.

Немало было в ее жизни незабываемых ночей любви. Но та, насквозь пронизанная дождем, безгрешная любовная ночь — самая счастливая. Хотя ее первая любовь, как это обычно бывает, закончилась внезапно и грустно.

Что скрывать — они, геологи, не любили дождей. Сколько проклятий посылали небу, когда оно, раскиснув, расквашивало землю, и они не могли идти дальше по маршруту, застревали где-то в самых неудобных местах, неделями не могли просушить одежду и ели слипшиеся в комки, подернутые плесенью сухари. Но за один из тех проклятых ими дождей она отдала бы сейчас все, что отпущено еще ей судьбой.

Первый ее муж тоже был геологом. Проработав вместе четыре года, прошагав рядом сотни нелегких километров,

они совершенно неожиданно открыли для себя друг друга. И, открыв, неудержимо ринулись навстречу друг другу. То было бурное, трудное счастье. Медовый месяц, да и вся их недолгая супружеская жизнь прошла в палатке, в долгих спешных переходах, коротких привалах. Свою официальную свадьбу они отложили до отпуска, до немыслимой городской роскоши с белыми скатертями и мягкими кроватями. Но свадьбы не было. Когда они переправлялись через Катунь, перевернулся паром. Она выплыла. Его увлек за собой рюкзак, полный камней, который он почему-то не снял. Потом, когда его нашли, рюкзак передали им, и камни из него пошли в лабораторию, будто ничего не случилось и он сам донес их.

Всю жизнь она провела среди мужчин. Походная жизнь научила ее зачастую забывать, что она чем-то отличается от них и что женщину с мужчиной могут связывать иные, чем дружеские, чувства и отношения. О женщинах геологах принято думать плохо. Даже ее подруги, когда собираются они вместе, в открытую завидуют ей: повезло, дескать, — одна среди мужиков, выбирай любого. Она их даже не пытается разубедить. Во-первых, потому, что ей абсолютно безразлично, что о ней думают и даже говорят. А, во-вторых, разве хоть одна из них поверит, что можно спать с женщиной в одном спальном мешке, экономя тепло, тесно прижавшись друг к другу, и при этом думать только о том, что, наверное, надо было еще завалить себя сверху еловыми лапами на случай, если ночью пойдет снег. Чтобы поверить в это, надо быть геологиней, отшагать по бездорожью тридцать километров с рюкзаком, полным камней. Надо вымокнуть до нитки под осенним дождем и, остановившись наконец на ночевку, развесить над костром мокрую одежду, натереть друг друга спиртом, остатки его плеснуть в рот и забраться в один спальник, обсудив пе-

ред этим, как лучше лечь, чтобы не упустить ни одной калории тепла.

...Ну что она лукавит перед собой? Был в ее жизни один дождь, воспоминание о котором она гонит в дебри памяти в надежде, что оно, это воспоминание, заплутается там и никогда не вынырнет наружу.

Они уже заканчивали маршрут, когда она совсем нестати подвернула ногу. Все спешили домой, устраивать из-за нее незапланированных перекуров возможности не имели, и она несколько дней отсиживалась одна в палатке. Иногда товарищи ее возвращались на ночь, но чаще, чтобы сэкономить время, ночевали там, где работали. В тот вечер она не ждала их. Уже на закате вышел к палатке обросший, пропыленный, прожженный солнцем мужчина. Она сразу же признала в нем собрата, геолога, и не ошиблась. Он объяснил, из какой партии, откуда и куда идет, почему один. Был он смертельно усталым, голодным и как на счастье свое смотрел на палатку и котелок над костром. Она незамедлительно пригласила его поужинать и переночевать. Он не отказался. И ничего-то она не почуяла неладного, пока не распустила из-под косынки волосы, чтобы расчесать их на ночь. Была она в тот момент спиной к гостю, но лопатками, затылком ощутила его взгляд. Оглянувшись, пронзенная этим взглядом, и тотчас поняла, что сейчас что-то произойдет, она даже знала, что именно. Если быть до конца правдивой, ей не захотелось крикнуть, позвать кого-нибудь на помощь. Она просто стояла и ждала. И он шагнул к ней, на расстоянии угадав ее немое согласие.

Раздевал ее нетерпеливо, жадно, и она не противилась его ищущим рукам. Потом была нескончаемая головокружительная бездна. Вынырнув из нее на мгновение, она возвращалась в реальность, слышала дробный стук дождя по палатке и снова погружалась в глубины, до того ей неведомые. Никогда рань-

ше она не подозревала, что человек может испытывать такое наслаждение. Словно было оно уготовано многим людям, а по какой-то ошибке досталось ей одной. И еще оказалось, что до той ночи она не знала себя, своего тела, своих рук.

Ни одного мгновения не упустили, не отдали они сну в ту ночь. А дождь все колотил по туго натянутой палатке, звучал как ритуальный барабан на языческом празднике какого-то древнего племени.

— Как звать тебя? — спросил он утром.

— Клавдия.

— А я — Федор.

И он ушел. Как благодарна она была ему за то, что не стал ничего объяснять, оправдываться или оправдывать ее, тем более — загадывать новые встречи. Еще больше благодарна она судьбе, которая, проявив милосердие, ни разу больше не свела их вместе, хотя — она знала — их партии не раз работали совсем рядом.

Потом были терзания. Она стала плохо думать о себе, презирать свое тело и с ужасом ждала теперь от него новой выходки. Но оно молчало, было тихим и послушным. И снова она могла спать в палатке среди бородатых, пропахших костром мужчин. Снова, как прежде, иногда приходилось спать с кем-нибудь из них в одном спальнике, и ни разу больше тело не взбесилось, не пробудилось.

Этот свой единственный бабий грех она схоронила от всех — от самых близких подруг, от мужа, от себя тоже, не позволяя себе вспомнить ту дождливую грешную ночь.

...Много еще пролилось над ней дождей, прежде чем ее постоянный спутник по экспедиции, в прошлом ее институтский однокурсник, свидетель ее первой любви и мимолежного семейного счастья, тихий и неприметный, безропотный и безотказный, стал ее мужем. Сло-

жилося всё у них тоже как-то тихо и неприметно. Просто они много лет были рядом. Просто он всегда первым успевал прийти к ней на помощь. Просто оказалось, что их волнует одна и та же проблема в геологии, и они начали совместную, очень интересную работу. Не было, казалось бы, обязательных в любви бурных взрывов и пылания страстей. Но если бы сейчас, спустя четверть века, ей предложили из всех встреченных в ее жизни мужчин выбрать для себя одного, она выбрала бы только его.

Дальше все памятные дожди сплошь связаны с детьми. Выходила она из роддома с первой своей дочкой на руках. Неоглядная и, казалось, неодолимая лужа подступила к самому больничному крыльцу, и потому такси стояло на другой стороне дороги. Муж взял их с дочерью на руки и прямо по воде понес к машине.

...Ей предстояло сделать выбор между дальней экспедицией и будущим, только еще намекнувшим о себе ребенком. Экспедиция была долгожданной, заманчивой, обещала быть плодотворной, и она выбрала экспедицию.

Когда вышла из дому, небо было незамутненным. Но стоило ей сделать несколько шагов в сторону больницы, как оно насупилось и пролилось мелкой тосливой влагой. Она, человек абсолютно неподвластный всяким там приметам и предрассудкам, вдруг уверовала, что это знак свыше, что это природа плачет об убитом еще до рождения своего человеке, о его несостоявшейся жизни и судьбе. Когда же, слизнув со щеки дождевые капли, ощутила, что они действительно солонны, повернула назад, к дому. В экспедицию муж впервые уехал без нее, и телеграмма о рождении сына дошла до него с большим опозданием.

...Она ждет сына, уже десятиклассника. Они пошли «прошвырнуться» своей неразлучной тройцей: он, Михя и Лена. Она волновалась: уже поздно, давно пора бы ему возвратиться. Прошли все

сроки, даже если они «закатились» на последний сеанс в кино. Он пришел около двух часов ночи, вымокший насквозь, уляпанный грязью, с застывшим горем в глазах.

— Она сказала, что любит Миху! — выдохнул он и ткнулся мокрым лицом ей в плечо. — Я не хочу, чтобы завтра был снова день. Я не хочу никого видеть, ни с кем говорить! Мама, я не хочу больше жить! — прорывалось у него сквозь душившие его рыдания...

— Уезжать в дождь — счастливая примета! — сказал кто-то там, у вагона, который должен был увезти дочь в первую ее экспедицию. Клавдия Петровна, сама не променявшая бы свою судьбу ни на какую другую, тем не менее была категорически против того, чтобы судьбу эту повторила ее дочь. Но та была в мать упряма и решила по-своему. И там, на вокзале, Клавдия Петровна впервые, не стесняясь детей и их товарищей, плакала, не сдерживаясь, совсем по-бабьи. Растерявшаяся от этих слез дочь неумело успокаивала ее:

— Вот тебе и раз! Ты чего это? Я и не знала, что ты умеешь киснуть. Ну перестань! Все у меня будет как надо. Я же сильная, вся в тебя.

«Сильная»! Видать, одной-то силы мало. Вызванная отцовской телеграммой, дочь приехала две недели назад. И в канун ухода матери на операцию у них состоялся ошеломляющий, какой-то бредовый, вроде неправдашный разговор.

— Я понимаю, мать, что свинство — волновать тебя сейчас. Но такую уж ты меня родила — ненавижу любую ложь и должна сказать тебе правду. А правда такова, что у меня будет ребенок от любимого человека. Он, этот человек, женат, у него двое детей, и никакого будущего у нашей любви быть не может. А вот ребенок будет.

Клавдия Петровна поежилась, вспомнив свои первые вырвавшиеся необдуманные слова: какой, мол, срок и, быть может, еще не поздно... Дочь посмотре-

ла на нее какими-то совсем чужими глазами:

— Вот уж не ждала, мать! Ты пойми — я люблю, и его ребенок — самая большая мне награда. И запомни, мать, я счастлива.

Наверное, только вот сейчас, в эту ночь, под неумолчный шум дождя, ей стало по-настоящему понятным каждое слово дочери, сказанное тогда. И почему-то именно сейчас поверилось в ее счастье. Да, действительно, дочь вся в нее — лицом и характером: прямолинейна, жестковата, непреклонна.

Сын — тот в отца — мягкий, ласковый, уступчивый. И профессию себе выбрал для их семьи странную — врач. Они все очень здоровые и медицину жаловали не особо. Сама она до этого попадала в больницу только когда рожала. И детей своих по врачам не таскала. Могла сама сбить у них жар, вылечить кашель, вправить вывих. До этого она считала, что врачи в основном делают то, что должен уметь каждый.

«До этого»... До этого — это в другой жизни, в другой эре, в другом мире. Болезнь застала ее врасплох. Она совсем не была к ней готова. Врач, ее школьная подруга, не стала скрывать страшных предположений. Теперь вот — позади операция. Завтра или, вернее, уже сегодня утром должен поступить результат анализа вырезанной опухоли. Ей странно, что где-то чужие люди изучают частицу ее самой, как исследуют, изучают они у себя в лаборатории найденные в экспедиции камни. Утром ей принесут окончательный при-

говор. А может быть, судьба проявит милосердие...

Оконное стекло начало сереть, на нем проступила крестовина рамы. Дождь за окном уже не спешил. Он шел неторопливо, вроде даже лениво, по обязанности. И Клавдия Петровна вдруг обнаружила, что он, этот дождь, за ночь вымыл, выхлестал из ее души что-то ненужное, лишнее, что так мешало ей все эти последние дни. Пришло наконец облегчение и даже покой. Ну что же, у каждого свой срок. В конце концов она неплохо прожила отпущенное ей. После нее не так уж мало останется. Разве даже один-единственный рожденный, взращенный и воспитанный ребенок не мог бы целиком оправдать ее существования в этом мире? А ведь детей у нее двое. И они — не единственное, что свершено ею. На скольких сотнях километров таежных и горных троп остались ее следы, и смыть их бессильны любые дожди, потому что каждый тот шаг оборачивался со временем в крупицу нужного людям дела. Вот, правда, не успела закончить начатую работу. Но она знает — работу эту доведет до конца муж, уж на него-то положиться можно. Жизнь ее не обделила ни радостью, ни горем, ни любовью. Были неудачи и ошибки. Но ведь и в этом солнечном мире тоже для чего-то бывают дожди и слякоть.

Утром, когда открылась дверь и в ее зеве возникли фигуры в белых халатах, она не рванулась в нетерпении навстречу. Не было в ее взгляде ни обреченности, ни мольбы, ни надежды. Она была готова к любому решению судьбы...

СОБРАЛСЯ ДЕД ПОМИРАТЬ

Большие мягкие пальцы касались головы невесомо, перебирали волосок за волоском, и следом пробуждалось давно угасшее воспоминание: вроде в каком-то ушедшем и невозвратном далеке так уже было, кто-то когда-то гладил его по голове, только он уже не помнил, кто и когда. Он чувствовал на лице своем чье-то горячее дыхание и жмурился от света стоящих над ним немигающих глаз. От непривычной ласки этой сделалось внутри знобко и сладко. Надо бы отмахнуться, поди, не маленький уже! — а он все медлил. И потому, должно, его опередили. Кто-то холодный и злобный разом вырвал его из тепла и ласковости, нагнулся к нему, норовя сделать худое.

Василь распахнул глаза. Корявая лохматая туча дожевывала солнце. А прямо над ним горбатым страшилищем дыбился мертвый подсолнух. Его лысая уже голова нацелилась в самое лицо Василя. А черная от перезрелых, наполовину осыпавшихся семечек подсолнухова рожа щерила свой шербатый рот и хищно щурила свой единственный глаз. На загровке трепыхались два громадных пожухлых листа, готовясь то ли ударить, то ли схватить.

— Ты чо! Ты чо! — отмахнулся Василь от страшилища, а ноги сами собой уже подхватили его и помчали прочь.

Он пробирался сквозь строй ошетилившихся подсолнухов, и каждый из них норовил ухватить его. Шершавые листья больно лизали спину и лицо. Стебли били по ногам. А бодливые тяжелые головы целили в глаз. Василь чуток перевел дух, вырвавшись в заросли табака. Когда и табачник остался позади, Василь остановился, сисяя разобраться, что к чему.

«Во скаженный! — ругал он себя. — Столько делов неделаных, а он, вишь ты, разлезся на солнышке да и скочеврыжился. Бежал, чуть в штаны не напу-

стил, а и всего-то дождь собирается, ветром затрепало все вокруг. Ладно еще, дед не видел...»

— Васи-иль! — тут же донесся до него знакомый хриплый зов. — Василь!

Надо бежать, а то достанется от деда.

А тот уже стоит у крылечка, сердится:

— И де тока тебя нечистая носит! Всю горлу с тобой, окаянным, проорал. Ровно бес скрозь землю проваливается.

Василю и оправдаться некогда. В открытую дверь видит он стол, а там — миску, и все внутри него безудержно тянется к ней. В миске — вареные картохи, посыпанные резаным луком и политые постным маслом. А рядом — кусмарь колбасы. Василь берет картоху в одну руку, колбасу — в другую и в нее же приспособливает краюху хлеба. Картоха холодная, хлеб подсох, но он уминает за обе щеки.

— Кликал, кликал тебя, да плюнул и один отобедал, — говорит дед.

Василь перестает жевать и подозрительно осматривает содержимое миски.

— Куда? — спрашивает он деда.

— Чо куда? — не понимает тот.

— Плюнул-то куда?

— Тыфу ты! Сам нехристь и других в грех вводит.

Дед ругается для порядка, по обязанности. Нутро же у него доброе. Оно так и выглядывает из глаз, если только он не занавешивает их кустистыми бровями. И вообще дед у Василя что надо. Только вот шибко зажил на этом свете. Ему уже давно место на погосте, а он все в миру маячит, бога гневит. Но теперь все, помирать собрался. Вот и Ольгу — внучку свою, Василеву мать — вызвал. И телеграмму ответную получил: завтра должна быть. Оттого и прет из него радость. А чтоб скрыть ее, дед и ворчит без передыху.

— Чо руками-то хапашешь? Ложки, што ли, нет, язви тебя!

Рядом с миской, и правда, сегодня ложка лежит, рябая от съеденной краски, с обкусанными краями. Железные дед вовсе не признает. «Дурак придумал, тока зубья об их обламывать». Да и эти-то достает он раз в год по обещанию. А ложки у деда, должно, его одной годки. К тому же больно большие, не под размер Василева рта. Картошку из нее приходится высыпать в рот, запрокинув голову, наподобие курицы у корыта с водой. Нужна ему ложка эта! Да и сам-то он, старый, часто ли берет ее в руки? Как-то привыкли они оба без этой чепуховины. Еда у них с дедом круглогодично одна и та же: вареная картоха с луком и постным маслом да кусок мяса или соленого сала. Всякую другую еду дед считает баловством. Правда, Василю по малолетству покупает иногда в магазине лакомство — колбасу. А может, и не по малолетству вовсе, а чтобы тому не обидно было: у деда свое лакомство — табак, надо, чтобы и у Василя какое-то было.

Управившись с едой, Василь начисто вылизывает миску, смахивает со стола крошки, всыпает их в рот и с отяжелевшим животом выкатывается из-за стола.

— Бог напитал, никто не видал, — говорит он всегдашнюю дедову присказку.

— День прошалался невесть где, а делов неделаных — ворох, заводит дед свою песню. — Хошь двор вымети, што ли. Приедет завтрева цаца наша, опять нос морщить будет.

Василь покорно берет веник и начинает отгрести от крыльца толщу подсолнуховой шелухи, смешанной с окурками, щепками, разным другим мусором.

— До морковкина заговенья ширкаться будешь веничком этим! — говорит дед.

Он выбирает из кучи новеньких метел одну покладистей и вручает ее Василю. Тот примеривается к черенку, вдвое выше его самого, плюет на руки,

размахивается и бьет метлой в землю. Метла взбрыкивает наподобие норовистого коня и отталкивает Василя в сторону. Он напыживается, набычивается, чтобы не упасть, натужно краснеет, широко расставляет ноги и, наддав силы, снова размахивается. Но прутья как заклые прирастают к земле, а тяжелый черенок поддает ему в бок. Некоторое время Василь борется с непокорной метлой, но скоро сдается.

— Чтoб ты пропала! — сердито говорит он, бросает чертову эту штуковину и снова берется за веник, наперед зная, что сейчас опять польется из деда нескончаемая, как нить паука, ругань. Однако дед молчит, и Василь обеспокоенно оглядывается. Сидя на крылечке, дед спит. Чтo-то, должно его долгие годы, тихонько булькает, перекачивается в нем, и Василю почему-то становится жаль деда. И где только все эти годы помещаются? Наверно, тесно им в этом скрюченном, усохшем, костоброухом теле. Третью ногу свою — суковатую, блестящую от времени палку — дед выронил, и не случись рядом Василя — не встать старому. Вылинявшие, забывшие свой цвет глаза закрыты наполовину: искореженных морщинами век не хватает, чтоб закрыть их плотно. Волосья в бороде истончились и повисли на подбородке легким прозрачным облачком, того и гляди — ветром унесет. Василь замечает в дедовой бороде какое-то неположенное там трепыхание и видит заблудившуюся в ней божью коровку.

— Куда лезешь, халява! Ведь заглотишь он тебя ненароком, — ругается Василь и высвобождает божью тварь на волю. Дед от его царапанья в бороде просыпается и продолжает ругаться, словно и не засыпал вовсе.

— Глянь на себя, ирод! Ить посмотреть — варнак варнаком. Мать тока глянет — с ума спатит.

Василь глядит на себя и ничего плохого не углядывает. Холщовые, шитые дедом штаны (магазинские-то ему на

один день) совсем еще целые. Пузо малость расцарапано, дак это заживет. Да и рубахой можно прикрыть. Ноги вот — это да. Они неотмываемо черны, покрыты тройным слоем цыпок. Да и то сказать — от снега до снега ходит босой. Обувь знает одну — валенки. Сапоги, правда, есть. Но обувает он их только в праздники великие. Задубелые подошвы ничего не чувят. Он может по щебенной дороге бегом — хоть бы что. Их и стекло не всякое берет.

Словно угадав мысли Василя, дед командует:

— Принеси-ко сапоги наши да деготь там захвати!

Потом он долго, старательно вощит Василевы «бахилы» — здоровенные, на вырост («Всю школу в их пройдешь!»), пока не становятся они такими черными и маслянисто-жирными, что хочется их лизнуть. На свои дед экономней тратит силы и деготь («Старому хрычу и так сойдет!»).

Покончив с сапогами, ходит по дому, высматривая всякий непорядок. Задвигает старые валенки за печку, велит Василю убрать под кровать ящик с гвоздями, начинает сгребать с комода разные крючки, гайки и другие железки, но раздумывает и оставляет все как есть. Не нравится ему гора новых метелок у крыльца, и он посылает Василя в контору сказать, чтобы забрали. Метлы дед делает для совхоза. Ему привозят машину необструганных палок и прутьев, а уж дед превращает их в аккуратные добротные орудия, без коих не обходятся пока еще ни ферма, ни конюшни, ни птичник. Слаб, слаб дед, а метлы лучше его никто не спроворит. Видно, вся сила его к старости ушла в пальцы. Они заскорузлы, словно покрытые корой сучки, черны и каменно тверды. Дед двумя пальцами свободно в один прием отламывает лишнюю длину у прутьев, ими же ломает толстую проволоку, чтобы перевязать метлу. Он уж и не помнит, были или нет у него когда зубы. Но

большой охотник до семечек, дед и сейчас не отказывает себе в этом удовольствии. Вместо зубов ему служат те же пальцы. И такие они у него сверлячие, что Василь боится: начнет как-нибудь дед чесаться, да и проткнет себя насквозь.

— Ну, паря, айда в баню! — наконец возвещает дед. Это значит — начинается праздник.

Баню им ладит сосед Левонтий, который за это, не имея своей, пользуется дедовой со всем своим могутным семейством. Баня для деду — отрада, утешение, счастье. Он просит Василя похлопать его веничком. Тот размахивается из-за плеча и со всех сил бьет по выпирающей наружу дедовой хребтине. Но деду все мало, и он разнеженно ворчит:

— Что ты за мужик, ежели с веником сладить не можешь!

Потом берет пучок прутьев с раскишными листьями из рук Василя и начинает охаживать себя всюду, куда только достают его заржавевшие в суставах руки. А потом приходит очередь Василя. Он всякий раз ждет этой минуты с какой-то радостной жутью. Дед не делает скидок на возраст, хлещет почему зря так, что Василь чует, будто кожа с него живьем слазит. Дед разглядывает на нем каждую царапину, каждый волосок. И удовлетворенно заключает:

— Кряжистая кость. Мясо-то ишшо нарастет. Ладный мужик будет!

Всякий раз, выходя из бани, Василь чует, что там осталась его старая оболочка, а на волю выклюнулся новый Василь. Должно быть, и дед чувствует себя новорожденным, и странно, почему у него все те же старые морщины. Даже пальцы дедовы не пронимает жар, и они остаются все такими же каменно заостренными.

После бани дед вынимает из шкафчика заветную бутылку, наливает чутка в кружку и выплескивает в себя «для сугрева». Потом он укутывается в вышарканную до блеска, в юности, видать, пу-

шистую доху и садится на крыльцо курить. Не спеша разминает в ладонях табачный лист, отрывает от газеты угол и сворачивает громадную, праздничную сигарку. Курит он только на улице. И, куря, костерит обычно на чем свет стоит бабку, которая «привереда старая, дыму словно черт ладана боится». И хотя бабки давно уже нет, дед не изменяет ни бабкиным приказаниям, ни своей привычке ругаться с ней.

Бабкину наружность Василь не помнит. Зато хранится в нем и не память даже, а что-то другое, что всплескивает, разливая тепло, и сладко щекочет при одном упоминании о ней. Он весь обмирает, когда дед (обычно это бывает после бани) говорит:

— Пошли-ко сходим к бабке!

Вот и сегодня, согревшись и всласть накурившись, он собирается сам и велит собираться Василию. Тому-то что — проверь, чтобы под носом было в порядке, штаны подтяни — и айда. А дед взбодрил у давно угасшего зеркала свою бороденку, пятерней направил в одну сторону редкие обломки волос на голове, сменил доху на вытертую овчинную безрукавку, и они отправились.

К бабке положено идти размеренно, степенно. Здесь вскачь не годится. Деда земля все шибче притягивает к себе, и он ходит вроде в постоянном поклоне. Зато воздух со всех сторон бережно поддерживает его усохшую фигуру. Легко дед, не рассекает при ходьбе пространство, а навроде просачивается сквозь него. У Василя другое дело. Головастый, круто замешанный, он проталкивается вперед. Чуть запнется — валится плашмя, не удержать его воздуха. Василь смотрит на мягкую серую пыль впереди. Там тихонько ползут две тени почти одинакового роста. И вдруг он замечает, что дедова тень светлее его, Василевой. Кажется, солнечные лучи проходят сквозь деда, только слегка задерживаясь не в его уже почти бесплотном теле, а лишь в одежке.

Бабкина могилка на самом краю кладбища, вся в березовой тени да в птичьем щебете. Ничего дед с Василем тут не сажали — травы да цветы сами буйно растут. Красиво, тихо, спокойно. Дед, по обыкновению, садится на близкий замшелый пенёк и начинает свой вечный с бабкой спор.

— Лежишь, стало быть, полеживаешь! А мне, стало быть, мыкайся, майся по свету. Кабы слухала меня, не лежала бы тут. Я ли тебе не наказывал: «Утеплайся как след, остудися!» Дык нет, все по-своему... А теперя вот...

Тут дед всхлипывает, что-то в нем булькает и свистит, и голос его замолкает. Но ненадолго.

— Рази мужицкое это дело — дитё вскармливать? Лежал бы сейчас здесь, горюшка бы не знал. А ты ба хвосталась с внучонком. Вам, бабам, от роду прописаны эти дела...

Василю не нравится, что бабкины ответы слышит один только дед. А он, сколько ни напрягается, ничего, кроме крика птичьего да стрекота кузнечиков, не слышит.

Дед вслушивается в неслышимые Василем бабкины слова, согласно кивает или, не соглашаясь, трясет головой и сердится.

— Без тебя знаю, что давно пора тут место занять. Страм один — зажился так, словно навовсе стыд забыл. Перед людьми совестно. Дык куда внучка, супостата этого, девашь?

Супостат стоит рядом, не возражает, смиренно смотрит на холмик, надеясь хоть однажды разглядеть под ним бабку. А дед снова замолкает, слушая, что она отвечает ему, и прямо вспархивает встречу ее словам:

— Мать, говоришь? А, мать! Кака там мать, язви ее в душу!

Наругавшись и наговорившись с бабкой вдоволь, дед идет домой. Василь тащится за ним. Теперя дед делается колючим и холодным, будет молчать, даже ругаться перестанет. Василь иной

раз не выдержит, нарочно что набедокурит. Как заведет дед свою ругачку — так у Василя отляжет, полегчает: все, отошел малость дед.

...Утро взошло ясноглазое, теплодыханное. Дед послал Василя в огород подсолнухов надрать. Огород у них большой. Сажают они там два овоща: подсолнухи да табак. На свой манер проводят они посевную. Обходятся без лопаты. Дед вместо своей палки берет другую, с острой железкой на конце. Он проделывает ею дырку в земле, а Василь кидает туда семечко. Посадки свои они отродясь не поливают и на удивление всем всегда бывают с урожаем. Кроме подсолнухов да табачины рядом с колодцем — грядина лука. Этому без воды нельзя, а то «зыку в ём не будет». Но и его дед не балует — лишь иногда поплещет ковшиком: «Тока приучишь, дык посла не наполивайся».

Василь, вспомнив вчерашнее свое пробуждение здесь, с некоторой опаской вступил в чащобу подсолнухов. Однако сегодня ничего страшного тут не углядел. Солнечность доходила до самой земли, мрак уже весь улетучился. Молодые, в желтых шапках, и уже созревшие, облысевшие подсолнухи, встав на цыпочки, тянулись к солнышку, сами переняв от него теплоту и ласковость. Василь увидел вмятину в пыли, где спал вчера, а над этой чуть приметной ямкой — большеголовый подсолнух, что напугал его. Тонкий стебель не сдержал тяжести и сломился. Шапка висела отворачиваясь от солнышка, не в силах повернуться к нему. Василь даже пожалел его и попытался закрепить стебель. Но перезрелая, выросшая до предела шляпка падала, и пришлось ее сломить.

Выбирая подсолнухи покрупнее, с семечками почернее, Василь вдруг заметил на одном вместо желтого лепестка огненно-красный, в хитром узоре из тонких линий и кругляшков. Он взялся за этот лепесток, но тот вдруг ожил, забился, оборотаясь бабочкой. Все в Васи-

ле замерло от восторга. Он бросил сорванные подсолнухи и ухватил бабочку за другое крыло. Поднес ее к самым глазам и будто утонул в красоте. Краски, сколь существует их на свете, по малости были собраны здесь и размешаны с мастерством небывалым. Крылья сплошь покрыты мягкими шелковыми волосками, и на кончике каждого искорка светится. Нет, такого еще Василю видать не доводилось. Он захотел вновь увидеть это диво в движении, выпустил на волю одно крыло и остолбенел: в самом его центре — большое, утратившее краски, пятно. Изумленно перехватил бабочку в другую руку — на втором крыле такая же пакостная грязно-серая прореха.

— Ты чо, дуреха, чо? Чо выдумала, язви тебя в душу!

Пятно на крыле расплзлось, яркими остались только краешки. Василь совсем легонько провел по ним — и с них снялась красота. Чудо меркло, угасало на глазах. Василь разжал пальцы. На ладони лежала безобразная толстая гусеница, к которой зачем-то прилепили по бокам два выполосканных в грязи крыла. Бабочка трепыхнулась, однако лететь не смогла, и Василь положил ее на подсолнух, с которого снял ее. Ему сделалось досадно, вроде даже вина какая-то в нем обозначилась, и, чтобы отогнать ее прочь, побег он скорее к деду.

А тот мается со своими сапогами. Добротные, из толстой кожи, на двойной подошве, навошенные детем, с собранными в гармонь голенищами, они выглядят по-барски богатыми. Да вот, холера их раздери, скрученные ревматизмом дедовы ноги никак не втискиваются в задубелое сапоговое нутро. Уж дед кроет с верхней полки и сапожника Степана («Царствие ему небесное, — не мог пошире их пустить!»), и проклятушие свои бухалы, которые, «ровно жирные поросята, тока на холодец годятся». Наконец, он отчаивается, напяливает свои всегдашние подшитые валенки с

разрезанными голенищами. Сапоги, однако, ставит на крыльцо, на видное место, чтобы Ольга не подумала, будто у деда и сапог нету. Василь натянул постиранные дедом штаны, которые от чистоты непривычно топорщатся, рубаху, надеваемую только в праздники, сапоги. И они с дедом отправились встречать городской автобус.

Ольга приехала не одна. Следом за ней выпрыгнул из автобуса пушистый птеник в желтом, с красным цветком на животе платье и с бантом больше головы. Ольга сначала ткнулась деду в грудь, потом попыталась поднять на руки Василя, но он заартачился, заотбивался, и ей пришлось ограничиться поцелуями и слезами. Потом она одернула на птенике платье, которое — дергай не дергай — трусов не прикрывает, и подвела к Василию.

— Вот, Васятка, сестричка твоя — Викуля.

Птеник захопал глазами, нарисовал на своей мордочке что-то вроде улыбки и потянул ручки к Василию. Но тот не отреагировал. Он глядел по сторонам, соображая, кто мог видеть эти поцелуи и слышать данное ему нелепое имечко. «Васятка!» Ему уже виделось, как деревенские мальчишки кричат ему: «Васятка — поросятка!» Или еще что-нибудь в этом же роде. К тому же ему было стыдно за голопопую свою новоявленную сестру. «Страмота одна — не могла уж подлинше дитю платье сподобить! Небось, себе юбку напялила до пят!» — думал Василь про мать. А она, не замечая его сердитости, все норовила ухватить за руку и вести как маленького. Девчонка же прилепилась к деду и не отцеплялась от него. Про сестру свою городскую Василь и раньше знал, а вот свидеться пришлось впервые. Ничего — девчонка как девчонка. Только имя дикое да пухлая больно. Ну и приодеть бы ее по-человечески.

Мать между тем широко всем улыбалась. Встречные, стоящие на улице,

сидящие на лавках у калиток узнавали ее, кланялись ей:

— С приездом, Ольга Мироновна!

Она же не спускала с лица улыбку и без устали повторяла:

— Здравствуйте! Добрый день!

Вначале пыталась выяснить у деда и Василя личности встречаемых, но скоро отступилась.

Дома дед перво-наперво напустился на нее:

— Тебя чо, мужик твой кажен день колом по башке лупцует, што ли?

— С чего это ты взял? И пальцем никогда не трогает.

— А хто ж это тебе память в городу твоём повышибал? Пошто на людей-то смотришь да не видишь?

— Это же вполне естественно. В наше время идет такой поток информации, что память человеческая вынуждена отбрасывать что-то, то, что не нужно. Будто мне только и забот, что всех деревенских старух помнить!

Дед насупился, задвигал бороденкой, заворчал что-то под нос. Но долго сердиться сегодня было некогда. Первое дело — накрыть на стол. Картоху он сварил еще поутру. Она, правда, малость поостыла, ну да ничего, пойдет. Луку и масла дед добавил щедрее обычного и кромсал теперь ломти прошлогоднего соленого сала. Ольга доставала из чемодана колбасу и множество разных банок. Когда же на столе засверкала бутылка, дед и вовсе подобрел. За столом говорили о мелочном, неглавном: о погоде, о том, как ехали, об огороде. Понимали: главное впереди, его надо обговорить не спеша, не суетясь.

Василь глядел на стол как на сказочную скатерть-самобранку. Рыба из железных банок ему не понравилась, колбаса тоже была обыкновенная. Но две вещи притягивали его как магнит: гущенное молоко и конфеты. Белую тягучую густоту он не смел есть ложкой, а только обмакивал ее в банку и потом долго по малости слизывал с нее сла-

дость. Его беспокоило, что конфеты, насыпанные горой, в миг прикончит его сестрица, которая обедать вообще отказалась, выпросив только чаю. Она подгребла конфеты к себе, запустила в разноцветную гору обе пятерни и принялась что-то вылавливать там. Достала одну, развернула, откусила и отложила. Взяла другую, попробовала и выплюнула. После третьей она приостановила поиски и вроде вполне довольная вылезла из-за стола. Василь не верил глазам своим. Она что — ненормальная? Конфеты, видите ли, ей не по нраву! Из горы этакой не выбрать по вкусу?! Неужто каждый день ей конфеты на обед бывают? От такого предположения у Василя слегка закружилась голова. Он старался вести себя степенно, конфеты не халат. Но руки помимо его воли орудовали слишком быстро, а зубы сами собой раскусывали то, что положено долго-долго сосать.

За обедом дед обстоятельно докладывал Ольге обо всех деревенских новостях. Стараясь не пропустить ни одного двора, по порядку рассказывал, кто когда и за кого пошел замуж или кого взял за себя, кто из молодых подался в город и как помогает теперь своим старикам, кто в последние годы помер и как — мучился перед смертью или отошел легко. Ольга обреченно слушала, уже даже не пытаясь вспомнить тех, о ком говорил дед.

Наконец, когда перестали жевать и убрали со стола, дед как-то подобрался весь, приосанился и приступил к главному. Видать, он давно уже приготовил свою речь, много раз проговорил ее про себя, может, даже писал на бумаге, хотел отослать Ольге, да потом раздумал. Потому, наверное, по-письменному и начал:

— Дорогая моя внучка Ольга! Спешу сообщить тебе, что приспела мне пора помирать, терпеть уже нету моей мочи.

Глянув в изумленное лицо Ольги, ка-

жется, сообразил, что вот она, живая, собственной персоной сидит перед ним, и вовсе это не письмо к ней. Поэтому начал заново, не упустив, однако, из души и голоса торжественности:

— Стало быть, пришел мой черед. Время-то свое давно уж просрочил. Грех великий на душе — зажился шибко на этом свете. Мне бы давно пора на погост, а я все тут маячу, бога гневлю. Да и к людям стыдно в глаза глянуть. И то сказать — скока годов, — уж счету сбился. Ни одного мово ровни не осталось. Уж те, что дядей меня кликали, почитай все туда отправились. Этак, глядишь, рассерчает господь и навовсе смерти лишит. Так что, Ольга, придется тебе Василя с собой везти. На похороны не езди, не траться. Телеграмму, конечно, отбей, мол, царствие небесное ему, деду моему. Чтобы тут принародно мне ее зачитали. Не беспокойся — все у меня наготовлено на тот случай и деньжаты лежат на поминки.

Рот у Ольги судорожно дернулся и пополз вбок, скопившаяся в глазах вода полилась наружу, вся она обмякла, стала некрасивой.

— Ты что, убить меня решил? Для этого пригласил? Что это снова тут надумал? Меня не жаль, детей хоть пожалеи, завел при них разговоры такие...

Дед, недовольный, что его прервали, зыркнул на Василя и скомандовал:

— Цыц отседова!

А мать подтолкнула к нему сестру:

— Возьми Вику, покажи ей огород.

Девчонка с готовностью шагнула к нему и сунула в его кулак свои тонюсенькие пальчики. Василь не знал еще, как их, малых, водят по земле, и держал её чуть-чуть, боясь сделать больно. «Покажи огород!» А чо в ём, в огороде етом, глядеть-то? Огород, он и есть огород. Добро бы еще овощ какой был — моркошка там или репа, подергать можно было бы. А так што? Табак, он девке ни к чему. Рази только подсолнух полузга-ет».

Обрадовавшись возможности отцепить ее от себя, он сорвал самый большой подсолнух и сунул ей. Руки ее оказались слишком слабыми и короткими, их не хватало, чтобы обнять подсолнечную голову. Она подержала его на весу, напрягая все свои силеньки, потом бережно положила на землю и робко попросила:

— Дай этот!

Ее палец уперся в маленький, запоздалый, только еще начинающий цвести подсолнушек.

— Да он же зеленый, — изумился Василь, — какой в ём прок?

Но она глядела так просительно, что он пожал плечами и сломил подсолнух-недоросток. Она обратила к себе его свежий желтый цветок, и ровно солнце послало ей в лицо свой веселый зайчик. Он раздробился на несколько лучиков, и они засияли в ее глазах, на беленьких крохотных зубках, на открытых от восторга губах. Она осторожно, чтобы не порушить эту красоту, пересчитала каждый лепесток, потом сунула пальчик в таинственно манящую середку и испуганно закричала. Оттуда, из этой красоты, вылез сонный лохматый шмель и сердито уставился на нее. Он не улетал. Видно, здесь был его дом, и он был готов защищать его. Не догадавшись бросить подсолнух, качнулась она к нему, старшему своему брату. И он почувствовал себя совсем взрослым, сильным, неумело расставил руки, обнял ее, прижал к себе.

— Чо ты! Чо ты! Испугалась? Вот дурашка! Шмель же это. Чо его бояться-то?

В подтверждение своих слов Василь подставил свой палец. Шмель перешел на него, немного потоптался, пошебуршал там и, видя, что его здесь больше не бояться, лениво полетел по каким-то своим шмелиным делам. Вика смотрела ему вслед уже улыбаясь, посверкивая невысохшими слезинками. А когда на заплюте появилась облезлая длиннохвостая

сорока, сестра только сильнее прижалась к брату и даже показала птице язык. Сорока обиделась и улетела. Ее место заняли два воробья и принялись перетягивать друг от друга то ли червяка, то ли соломинку какую. Потом на брошенный подсолнух, где раньше обитал шмель, села бабочка и начала, моргая крылышками, выискивать что-то лапками в мягком желтом пуху.

Вика сидела не шевелясь, заглатывая огромными своими глазами всю эту неизвестную ей доселе жизнь. В огороде было тихо, тепло и покойно, и скоро Василь почувствовал, как голова сестры все ниже клонится к нему. Он подложил под нее свою руку, и в ухо ему щеотно побежал теплый воздух, который она с тихим сапом выталкивала из себя. Боясь глубоко вздохнуть, чтобы не потревожить ее, Василь ощутил в груди что-то никогда до того не испытанное им. Вроде смешались воедино холод и жар. Хочется ему укутать собой, прикрыть эту спящую теплую живую куклу. Сейчас он ее не то что от шмеля или от сороки спас бы — от тетки-матрениного петуха не драпанул бы, закрыл ее от того прода клеветного. Почему-то вспомнилась утренняя бабочка, и он крепче обнял Вику. Какие у нее маленькие беленькие пальчики. Какая на них прозрачная кожица, как, должно быть, больно ей каждое неосторожное касание. А ножонки-то — чисто игрушечные, удивительно, как они держат ее. Только голова большая от пушистого белого пуху на ней да от огромного горохового банта посередине.

— Васятка! Викуля! — донесся голос матери.

Что кричит-то как оглашенная, — рассердился Василь. Ведь разбудит дите. Он не решался отвечать матери, боясь голосом своим спугнуть сон. Дождь, когда Ольга подошла совсем близко, и тогда только тихо отозвался:

— Неча орать-то. Тута мы. Уснула она.

Ольга подскочила, схватила дочь на руки и, целуя и что-то приговаривая, понесла в дом. Василию это совсем не понравилось:

— Чо тискать-то, чо слюнявить ребенка!

И то сказать — чо с бабы возьмешь? Правду дед говорит: «Баба, она и есть баба, лучше от нее подальше. Но опять же — мужик рожать не умеет. А надо ведь, чтобы у человека дите свое было». Затекие руки Василя еще сладко чуяли тепло маленького тельца. Решив, что все же когда-то ему придется жениться, Василь тяжело вздохнул и поднялся.

У калитки его ждала мать.

— Васятка, пошли пройдемся по деревне. Уж сколько не была здесь. Заблужусь, чего доброго.

Была она горяча лицом, глаза сердиты, губы сомкнуты. «Видать, здорово они с дедом-то!» — догадался Василь, и ему захотелось отвлечь мать, заговорить с ней о чем-то постороннем.

На толстом бревенчатом заплоте, развалиясь, грелась на солнце рыжая кошка Марьянихи.

— О, зараза, опять обрюхатела! — не то с осуждением, не то с восторгом возвестил Василь и, не замечая ужаса на материнском лице, продолжал: — Ить Марьяниха замучилась топить котят. Эта зараза передыху не знает. Тока одних выродит, гли, уже готово — опять брюхатая!

— Разве можно так, Васятка?! Не красиво же это, некультурно!

Он, по-своему поняв восклицание матери, вытащил палец из носу.

— А сама-то Марьяниха — во ушлая баба. Приспособила помидоры раным-рано созреть. Почитай, всю зиму дома рассаду выращивает. Под пленку высаживает уж с завязью. У других ишшо тока зацветает, а она уж в автобус да поперла красненькие в город, на базар. По пять рублей, стерва, продает. Как кило — так бутылка, как кило — так бутылка.

Ольга тихо охнула и заглотила воздух, подавившись им.

— А вот Левонтий, сосед наш, мужик хороший — хозяйственный, добрый, муху не обидит. Его бог за это детьми вознаграждал — полон двор их у него. Дак опять же не повезло. Старшая-то, Светка, совсем с ума спятила. С парнями тока хороводится, того и гляди в подоле принесет.

— Господи! — только и вымолвила Ольга, почему-то повернула назад и, перебив его, заговорила сама:

— Знаешь, Василек, ведь ты с нами в город поедешь. У нас теперь жить будешь.

— А дед?

— Дед тут пока останется... У нас хорошо. Конфет сколько хочешь. Велосипед тебе купим.

От этих слов у Василя аж сперло дыхание и слегка вскружилось в голове. Свой, собственный, велосипед ему и не снился, пожалуй.

— Только придется тебе отвыкать от дурных деревенских привычек и оставить этот ужасный жаргон. И еще, я тебя очень прошу — дядю Витю зови, пожалуйста, папой.

Василь испуганно глянул на мать: это как же мужика, которого и не видел ни разу даже, отцом-то называть? Однако вслух ничего не высказал. А потом и вовсе перестал слышать, что говорит ему мать. Он вдруг ясно так представил, как вот уедет он, а дед останется совсем один. Кто же картоху ему из подпола достанет? Кто в бане на полоч подсадит да поостережет, чтобы не свалился он оттуда? С кем разговаривать тогда старей будет, на кого ругаться станет? А кто же ему подаст палку, которая вечно выпадывает у него из рук? И Василь твердо решает в город не уезжать и деда не бросать. Без конфет он проживет — не маленький, поди. Вот велосипед... А, с его еще хлобыснешься да нос расквасишь или, чего доброго, руку изломаешь, как вон Мишка Егоров.

Ладно уж, он без велосипеда как-нибудь.

Дома Ольга дает выход своим чувствам:

— Это ужас какой-то! Не мальчик, а тюремщик закоренелый. Он двух слов связать не может без... без чего-нибудь эдакого!

— Какого — эдакого? — настораживается дед.

— Только и разговоров: «обрюхатела», «стерва», «в подоле принесет»!

— Сказывай, Василь, кто там ишшо обрюхател?

— Кошка Марьянихина.

— А, дык она без этого и не бывает. Уж така паскуда уродилась. А кого там стервой обзывал? — строго обращается дед к Василию.

— Самуё Марьяниху.

— Ну, эта стерва и есть, истинный бог стерва. Три шкуры с городских дерет за помидоры свои. Дерет и не оглядывается. А в подоле-то хто принесет — уж не Марьяниха ли?

— Не, Светка, дочка Левонтия.

— Считай, уж принесла. Мать мне жалилась — попалась девка. Теперь отгуляла. Так что, Ольга, все правда выходит. Чо опеть не по-твоему?

— Господи! Да не о том я, что неправда. А слова-то какие он говорит!

— Какие? Русские слова говорит, правильные.

— Да как я его с такими правильными словами в люди-то покажу? Ведь у нас общество собирается. К Виктору Ивановичу студенты ходят, ученые. Да мне прятать его придется от них!

— Прятать? Василя? — Дедова бо-роденка заострилась, пошла вперед вштыковую. — Да пусть он катится, ха-халь твой, вместе с обчеством своим!

— Не хахаль он мне, а муж. У нас ребенок есть.

— Но Василию-то дядька чужой!

— Виктор — культурный, образованный человек, он...

— Видать, и культурные люди хотят

делать детей сами, а не получать сготовленных неизвестно кем. Да ты же сама боишься Василя ему показать.

— Слушай, дед, ты что мне душу на кулак мотаешь? — Ольга вся набухла слезами, рыдания уже прорывались наружу.

— Чего тебе от меня надо еще?

— Не дам малого в обиду!

— Да никто его и не думает обижать.

— Ага, не думает! Не так говорит, ест не так, глядит не этак! Прятать его задумала?! Может, в подпол посадишь?

— Да ты что! Точно — под старость с ума спятил!

— Покедова на ум ишшо не жалуясь. И потому дите на поруганье не отдам, и все тут!

Дед даже стукнул кулаком по столу. Но тут вспомнил, что пора ему помирать и с сомнением поглядел на отшибленный о столешню кулак.

— И все тут, — повторил он менее уверенно. — И чо они все помирать спешат? — говорит он, помолчав и что-то обмыслив. — Ить ежели бы не их торопичка, жил бы себе пока да жил...

— Так живи! — радостно подхватывает Ольга.

— Теперя не могу. Слово мужикам дал.

— Какое еще слово?

— Как Петруху на масленку хоронили, от стыда не знал, куды и девать себя. Ить ему-то вполовину годов от моего. Думаю: «Это, поди, я его век живу». Тогда и пообещал: «Все, мужики, теперь уж следом меня сюды укладывать будете!» А теперя как же?

— Так ведь не сказал же точно, когда — не сказал! Еще несколько годков хоть поживи, а потом и умирай.

— А как же другие, что за мной-то?

— А другим придется подождать. Пусть вперед не лезут.

Такое решение вопроса деду явно подходит. Он еще что-то соображает, пошевеливая губами, то ли годы подсчиты-

вая, то ли выверяя, продюжат ли пока те, кто на очереди за ним.

— А хрен с вами — поживу ишшо! — наконец соглашается он.

Ольгу с Викой провожают, как и встречали, нарядные, торжественные. Деду даже удалось-таки натянуть сапоги, и оттого он шагает словно генерал на параде. Ольга явно довольна тем, как уладилось дело, и на прощание дает деду наказы:

— Денег не экономь. Ешьте как следует.

— Да уж голодом не сидим.

— Молока Васятке покупай.

— Не сосунок уже наврode.

— Конфет берите.

— Вовсе баловство одно и пустая трата денег.

— Да денег, если надо, буду посы-
лать больше.

— Да нам ить моей пенсии да прира-
ботку хватает. А што ты присылаешь —
складываю я. Вырастет парень — ко-
стюм себе купит или гармонь.

Ольга от этого дедова сообщения
столбенеет:

— Да купим мы ему костюм, купим.
Если склонность к музыке будет, не то
что гармонь — пианино даже купим.

— Это твое дело. Захотишь — ку-
пишь, захотишь — нет.

И вдруг без всякого перехода дед на-
чинает громко, сколько хватает голоса,
кричать:

— Не отдам я тебе Василя и все тут!
И не проси и не требовай! Неча ему в
городе твоем делать!

Ольга изумленно хлопает глазами. А
Василь-то понимает: это дед для своих,
для деревенских кричит. Чтобы потом
не ругали они Ольгу, не говорили, как
всегда, будто бросила она ребенка. Зна-
чит, сам дед захотел, сам и оставил се-
бе Василя.

Вика прижимает к груди коробку, в
которой, обняв бутылку с соской, слад-
ко спит серый пушистый котенок. Не
Марьянихиной кошки — другой. Сестра
влюбленными глазами смотрит на бра-
та, одарившего ее таким неслыханным
богатством.

Автобус начинает урчать. Ольга бро-
сается целоваться, и Василь не отталки-
вает ее, великодушно позволяет ей эти
бабьи ласки.

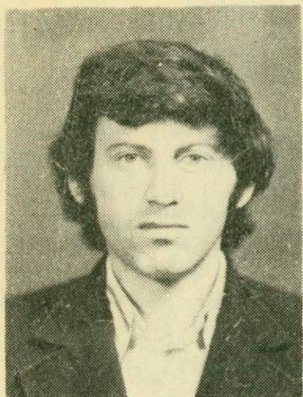
— Ты... это... приезжай! — говорит
он матери по-взрослому, солидно. И
вдруг, не выдержав, жалобно, умоляю-
ще просит: — И ее привози! — Василева
рука тянется к сестре, но ожившая
вдруг автобусная дверь с тихим ехид-
ным лязгом разъединяет их.

Автобус вздрагивает, натужно пых-
тит, лицо матери в окне начинает уплы-
вать вдаль. Василь бежит рядом и
кричит:

— Не бойся, мы еще поживем с де-
дом! Мы еще поживем!



Александр Раевский



Ты ж, смеясь, упрекаешь ее,
Что кумысом и дымом воняет
И она, и отец, и жилье.
И, потрянув перламутровой сумкой,
Принялась, мельтеша, как лиса,
По углам, по ковровым рисункам
Дорогие духи растрясать.
Сиротели лепешки на блюде,
Чай ленивый дымился, как ночь.
И смотрели притихшие люди
На свою незнакомую дочь.

ОТЕЦ

В январе он кашляет с мороза,
Осень ненавидит за дожди,
Но ему простуда — не угроза,
Хуже то, что травы впереди.

Вот и лето. Солнышко нахально
Выживает влагу из ведра...

Я любил тот луг патриархальный
За его причуды, но вчера...
Но вчера, застыв у тарантаса,
Я стоял и немо голосил.
...Папка мой тихонечко ругался,
Папка мой хрипел и задыхался,
Расстегнуть рубаху порывался,
Буйствовал, из тела вырывался,
Обгонять кого-то собирался
И... топтался больше, чем косил.

КАЗАШКЕ

Как ты гонишь коня по беспутью? —
Ведь угробишь его до поры;
Видишь, степь заволочена ртутью
Сатанеющей с мая жары.
Ах, казашка, цветочек раскосый!
На неделю забыв институт,
Амазонкою сорокакозой
Ворвалась ты в родительский кут.
И пред тем, как скакать оголтело,
Перед тем, как взметнуться в седло,
Ты фамильную кофту надела,
Ту, что темным звенит серебром,
А вдобавок — сомбреро и джинсы...
Хочешь душу послушать мою?
Я б с тобой, Аишаш, не сдружился
За безвкусицу эту твою.
...До луны по чабаньим угожьям,
Выстилаясь, носил тебя конь.
Накаталась. Бросаешь поводья
И бежишь на негромкий огонь,
Мать от радости чашки роняет...

Все гуще зори полыхают,
В поместьях грачбх — пир горой,
Дымясь, пригорки подсыхают...
Такой сиреновой порой
Встает колхозник среди ночи
И — мотыльком на зов огня —
Идет к окну, на запах почек,
По половицам семеня.
И, внемля женину ворчанью,
Рокочет ласково: «Ну, мать!
Снеговья, вроде, за плечами,
Пора землю поднимать...»
А где-то в городе мужчина
С крестьянским профилем лица,
Вздыхая (что за чертовщина!),
Лежит и курит без конца.

ЭТЮД

Осенний луч в осеннем лесе
Наискосок струится вниз...
Ваш взгляд в листву и тих, и весел,
И дышит силой организм!
В огне купаются осины,
В ложбинке спрятался стожок,
Паучья нить, венец лосиный
Во мху, как белый гребешок.
Гнездо, покинутое пташкой,
Свисает рядом,
А вдали
Ползут оранжевой букашкой
По полю чьи-то «Жигули».

ЛУГОВАЯ НОЧЬ

Мой огонек среди кустов
Веселой звездочкой дрожит...
Стозвучен в воздухе густом
Цикадный стрекот у межи.

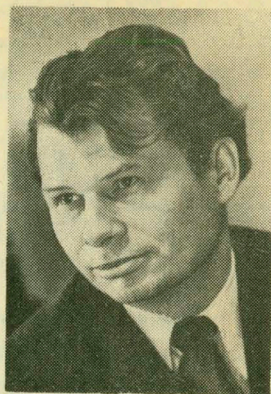
Не шелохнется дикий лук,
Затихла птица в борозде.
Уснул и дед. Приблудный жук
Гуляет в вольной борозде.

И красный месяц над бугром
Замедлил свой извечный бег,
Повис печально над костром,
Как молчаливый человек.

И лишь жеребчик молодой
Шалит в ворчливом тальнике.
Играет уголь золотой
В его непуганом зрачке.

Владимир Куропатов

Костер



Горняки получали наряды и уходили в мойку переодеваться. В раскомандировке перед столом начальника участка нас, такелажников, осталось трое. Пожилой рабочий с одутловатым смуглым лицом и сонливым взглядом, другой — лет тридцати трех, щупловатый, сутулый, с круто вздернутым, словно бы перебитым носом, а между ними — я, новичок.

— Значит, так, — начальник участка поиграл, как по клавишам, пальцами по столу, поднял глаза на пожилого, — вы, Сараев, и ты, — не останавливая на мне взгляда, перевел его на молодого, — Логачев, пойдете на двенадцатый участок... Там на промштреке есть рештаков, на-верное...

— ...тридцать-тридцать пять — подсказал Сараев.

— Да. Где-то так, — согласился начальник. — Так вот, ваша задача: поднять рештаки на основной штрек, погрузить и отадресовать на девятый участок.

Сараев молча кивнул и встал.

— В помощники даю вам вот этого, — начальник указал глазами на меня, — молодого человека. В шахту спускается первый раз. Так что...

Сараев опять кивнул. Логачев, поднимаясь, стрельнул в меня коротким не очень дружелюбным взглядом, и мы все трое пошли в мойку.

Раздевались молча. Логачев, оглядев

меня от шевелюры до пяток, скривился и ехидно хмыкнул:

— Откуда взялся-то?

— Откуда и ты, — ответил я.

— Гляди-ка, шустряк! — Логачев дернул головой. — Спрашиваю, на шахту как попал?

На шахту я попал очень просто. Учился на втором курсе горного техникума и вдруг увлекся... Нет, не девушкой. Произведениями Антона Павловича Чехова. Увлёкся до того, что жертвовал для чтения их не только свободное, но и все то время, которое должен был отдавать физике, высшей математике, электротехнике и другим дисциплинам, далеким от беллетристики. В результате во время экзаменационной сессии я получил два неуда и, естественно, был снят со стипендии, которая была единственным источником моего существования. Рассчитывать на помощь отца-пенсионера я не мог и не смел.

Очтившись в пиковом положении, я из книжного мира вернулся в мир реальный, пораскинул умом и решил: переведусь на вечернее отделение и пойду работать в шахту.

Против моего перевода на вечернее отделение никто возражать не стал. Даже напротив, классный руководитель,

который за два года немало потратил на меня нервов, сказал:

— А ты не глуп — верный путь к поумнению избрал.

В отделе кадров шахты спросили:

— Такелажником на монтажный участок пойдешь?

— Пойду...

Так что все вышло довольно просто.

Не придавая никакого значения откровенному ко мне нерасположению Логачева, я достойно, даже не без гордости так и объяснил ему: учусь на вечернем отделении техникума, а теперь вот буду еще и работать.

— Хэ! Работать! Посмотрим... Такелажничать тебе не это... не на парте сидеть да пописывать. Тут надо мантулить. Круглое — катать, плоское — таскать. Попадаете все больше плоское. А таскать-то ты, вижу, непривычный.

— Откуда знаешь? — спросил я безразличным тоном человека, считающего, что упреки в его адрес неосновательны и что неосновательность эта подтвердится в ближайшее же время. Я считал, что на такой тон имею полное право: всерьез мне работать приходилось. И дома, и в колхозе, когда ездили на уборочную, и в строительной бригаде во время каникул. И, бывало, меня похваливали за сноровку и расторопность.

— Брюшко-то вон какое успел отростить. Хотя щас главным инженером ставь.

Кругленький, розовотелый, будто только что из парной, Сараев глянул на Логачева, на меня и, сбросив кальсоны, заметил с добродушным смехом:

— Это, Митька, если сравнивать его с твоей худобой, то он вроде как и с брюшком. А так — ничего. Парень как парень.

— Может, и ты — парень? — Логачев ехидно гыгыкнул и показал пальцем на животик Сараева.

— Я чего? Я, считай, старик уж. А ты своей Вальке скажи, мол, дядя Петро велел диету-то усилить, а то как раз-

денешься, так за магазинного петуха последнего сорта принимают. Хи-хи-хи...

Нагой Митька Логачев и точно походил на обшипанного петуха. Худой, сутулый, длиннорукий, длинноногий, впалая грудь, тело что вечерние сумерки — фиолетовое, лицо не по годам морщинистое, как перезимовавшая в тепле редька, головка маленькая и, как редька же, приплюснутая сверху, на макушке хохолком торчит клок волос.

— При таких заработках усилишь диету, — брюзгливо возразил Митька Сараеву. — Получишь всего ни хрена да еще маленько и не знаешь, куда деть.

— А ты ступай, где больше платят. На уголь иди. Там, Митька, как лопата — так десятка.

— Ты ж работал на угле. Чего ушел-то?

— Я не сразу ушел. Восемнадцать лет отработал в лаве. А теперь старый, говорю, стал. В лаве, брат, сила нужна. Верблюжья. С твоими мощами там, конечно, делать нечего.

— Ох и политикан ты, Сарай, — нервно сказал Митька, надевая каску.

— А ты? Не политикан? Хотел бы и рыбку съесть, и ни на что не сесть. Так, Митька, не бывает.

— Хотя щас тебя в лекторы.

Сараев махнул рукой.

— Ладно...

И по тому, как досадливо произнес он это «ладно», можно было понять, что подобный разговор между Сараевым и Логачевым происходил не впервые.

Шахта есть шахта. С тем, что на поверхности, поднатужась и крикнув, взвалишь на хребет и потихоньку да полегоньку потащишь, куда тебе надо, под землей не вдруг совладаешь: темно, тесно, душно, сыро, амуниция мешает. Рештак — металлический желоб, составная часть конвейерного транспортера — вроде бы и не такая уж великая тяжесть, всего каких-нибудь тридцать пять килограммов весит, а так просто его не возьмешь. Начнешь поднимать — он за

крепежную стойку проушиной или соединительным крючком зацепится. Вот и дергаешь его так-сяк, крутишь. Освободил, наконец. Поднял его, подставил спину, опустил. Сделал первый шаг — рештак уперся торцом в огниво — верхнее звено крепежной рамы. Руки скользнули по бортам рештака вверх, чуть в плечах не вывернулись, каска вместе с укрепленной на ней головкой светильника соскользнула с головы, упала под ноги. Нагибаешься за ней — рештак на тебя давит, выпрямляешься — давит...

Тащишь его, черта, по штреку, потом по уклону, нервничаешь, умываешься потом, царапин и ссадин не считаешь. Маешься — тащишь.

На основном штреке уложишь рештак в штабель и снова вниз — за следующим. Пока спускаешься — остынешь, успокоишься, пободреешь. Даже песенку себе под нос замурлычешь — все хорошо.

А потом со следующим рештаком маешься.

Маюсь я. Мается дядя Петя Сараев. Мается Митька Логачев. Но если мы с дядей Петей — молча, то Митька визжит истерично, матюкается.

— Зараза! — он болезненно сморщился, покрутил плечом.

— Чего? — спросил дядя Петя.

— Мммм, японский бог! — простонал Митька. — Так и знал...

— Что знал?

— Вчера, когда цепи грузили, застудился. Теперь вот под лопаткой закололо. Так и знал... Вы это... Давайте так: я один буду до уклона рештаки выволакивать, а вы их потихоньку по уклону. Как, Сарай? Идет?

— Не, Митька, так хуже будет. Самое-то главное — его там, в штреке, на себя взять. А на уклоне-то попросторнее — значит, проще. Чего ты будешь кажильтись? Зачем тебе это? Вчера, говоришь, застудился, сегодня пуп надорвешь, грыжу наживешь. И все из-за

железа. А оно ведь дурное, чести не понимает.

Митька понял, что его номер не пройдет. Сказал кисло-вато:

— Ну, нет, так нет. Я ж хотел, как лучше.

— Бери и носи. Вот и будет как лучше. — Сараев улыбнулся мне с лукавинкой.

Восхищенный дядей Петей, я засмеялся. Митьку это, конечно, разозлило.

— Чего, инженерик, радуешься!? Чего ржешь-то? А ну, давай, пошевеливайся!

И сам Митька вдруг сделался суетливым, озабоченным, мол, давайте погвардейски, поскорее разделимся — и на-гора. А если будем «телиться», то на завтра останется. Деловым захотел показать себя Логачев. Только ведь видно, все видно. Мы с дядей Петей по три рештака поднимаем, Митька — два. И то не каждый до конца. Я спускаюсь порожняком вниз, на полдороге встречается Митька с рештаком.

— Ну-ка, инженерик, прими. Тут два шага. А я мигом за следующим. Так скорее будет... Да ты пошустрей, пошустрей!..

Кроме силы и желания работать в любом деле нужна еще втянутость. Втянутости у меня не было. И я вскоре стал сдавать. Митька заметил это и тут же не преминул позлорадствовать:

— Ну что, инженерик!? Сперва не прытко, а потом и вовсе потише? Я же говорил! Это тебе не в тетрадке чиркать. Тут надо вкалывать. Ты давай, давай! Наряд-то всем троим одинаково закроют.

— А на болтовню, Митька, сила тоже расходуется. Экономь силу. Не все еще рештаки... — Сараев провел рукавом брезентовой куртки по мокрому лбу. — Будь они неладны. Наверно, давайте-ка разделимся с тормозками. Глядишь — и сила поприбавится.

Сараев и Логачев достали из карманов бумажные свертки — тормозки, сели

В основном штрёке на рештаки. У меня тормозка не было — не успел после наряда забежать в буфет. А если уж говорить честно, то забежать туда мне было не с чем. Я отошел в сторону, опустился на обрубок деревянной стойки, снял с каски головку светильника, погасил свет, расслабился всем телом и привалился к борту выработки.

Из темноты мне было хорошо видно, как дядя Петя аккуратно и неторопливо отрезал маленьким складным ножичком маленькие кусочки вареного мяса, отправляя их в рот, откусывал хлеба и тщательно разжевывал, беспредметно смотря перед собой. Я слотнул слюну. В пустом животе противно заурчало и стало посасывать. Я оторвал взгляд от дяди Пети, посмотрел на Митьку. И мне вспомнился наш кот Васька, никудышный крысолов и жадюга. Кинешь ему рыбешку, он ее цап зубами — и в дальний угол. Ест с хрустом и чавканьем, зло урчит и озирается по сторонам: не отнял бы кто. А отнимать-то кому бы? Вот и Митька тоже. Отвернулся от Сараева, сгорбился, двумя пальцами вцепился в кусок сала, зубами рвет его, тербит так и сяк — жилистое, видно, сало, с брюха свиньи, что ли. Оторвал клочок, жует, чавкает и жмурится. Губы и подбородок Митьки блестят от жира. Противно на него смотреть. Я закрыл глаза.

— А где это хлопец наш? — вспомнил вдруг Сараев, и по моему лицу скользнул луч света. — Эй, а ты чего не заправляешься? — И сразу же догадался: — Э-э-э, брат, так нельзя. Под землей без тормозка делать нечего. Тещ тут нет, буфетов тоже. А ну, иди сюда.

— Я не хочу.

— Ты мне сказки брось. Не хочет он! Ты голодный — значит, мне за тебя работать. А тут за себя бы хоть. Нет уж! На-ка вот, возьми... Да ты вставай, вставай...

— Да он налопается и совсем рассупонится, — Митька гыгыкнул и рыгнул.

Дядя Петя протянул мне кусок хлеба с пластиком мяса и яйцо.

— В следующий раз, парень, знай...

Очищая яйцо, я бросал скорлупки на пол. Дядя Петя остановил меня:

— погоди, — и положил на мои колени газетку. — Собирай сюда.

— Чистоту в штрёке соблюдаешь, Сарай? — съехидничал Митька.

— А ты тоже: что не доешь, на бумажку положи. Завернем, за борт спрячем — горному.

— Кому-у-у? — Митька перестал чавкать, непонимающе уставился на Сараева.

— Горному, говорю.

— Мастеру, что ли?

— Горный — это... ну, вроде шахтерского бога.

— Никакого бога, Сарай, нет.

— Ну, нету. И что?

— Так кого ж ты тогда кормить собрался?

— Привычка. Так дядя учил. Когда он работал в забое, тогда горный был.

— Тогда. А теперь издох?

— Теперь, Митька, и шахта и люди другие стали. Вот и нету горного. Не нужен стал. А раньше в него верили. Он шахтеров от завалов оберегал, предупреждения делал. За это люди одаривали его. Хлебца, сольки, еще чего там оставляли ему.

— Ну и что? Съедал он?

— А как же? Съедал.

Митька захохотал.

— Дураки! Да то ж крысы съедали!

— Пусть крысы. Главное, люди-то верили, что горный. Верили и легче им было, не так страшно.

— Нет, дурной был ранешний народ! Выдумывали всякую муру...

Дядя Петя помолчал, подумал, сказал:

— Вот смотрю я на тебя, Митька. С виду вроде человек, как все. Руки, ноги, голова — все на месте. А в середине чего-то нет. Не вложено в тебя самой крохи, малости. А она малость, да шибко че-

ловеку нужная... Ты, колчедановая твоя башка, — голос дяди Пети сделался вдруг напористым, жестким, — не понимаешь, что люди спасибо да верой весь свой век живут. Спасибо за добро да верой в добро. Сам-то горный кому он нужен был? Вера нужна была, что есть он, добрый. Уберег от беды — значит, добрый, с кем случилось что — значит, недоволен, сердится. Не от дурости, как ты думаешь, а от страха да темноты шло все.

— Нет, Сарай, ты точно политикан.

— А ты как думал? — дядя Петя закончил еду, сложил ножичек, сунул его в карман. Замотав головой, засмеялся тоненько.

— Чего, Сарай?

— Случай забавный вспомнился.

— Травани.

— Это еще, однако, году в тридцать втором было. Шахта еще штольневой горизонт отрабатывала. Раз начальник второго участка провел наряд, отправил людей в шахту, по отделаам, каким надо, походил, какие надо, дела справил, переоделся и тоже в забой пошел. Только до штольни дошел, а рабочие его что есть духу с выпученными глазами навстречу ему прут толпой.

«Стой! — кричит начальник. — Чего?! Куда?!».

А народу тогда тут всякого бога было: и татары, и вятские, и чувашы, и пермяки. Кричат все разом:

«Леший!»

«Шайтан!»

«Черт!»

«Горный!»

Начальник ничего не понял.

«Да растолкуйте, — говорит, — кто один».

Растолковали ему: пришли на участок, а там кто-то рогатый как затопает, как глазами засверкает, да как заорет. Ну и народ тоже заорал со страху — и деру. Начальник не поверил. Говорит, работать не хотите, вот и выдумываете разных шайтанов да горных.

«А ну, айда!» — и сам вперед.

Рабочие за ним, но неохотно, шагов так на двадцать отстают. Подходит начальник смело так к забою, спрашивает:

«Где тут ваш черт?»

А «черт» взял да и подал голос. Начальник дуринушкой:

«Караул!!!» — и пулей вперед рабочих своих — хорошо бегал.

Ну и что вы думаете? По всей шахте паника. Черт под землей сидит! Никто в забой не идет. Кому хочется черту на рога? Никому. А уголь-то добывать надо. Уголь требуют. Начальство-то и растерялось. Что делать? Ясно, что черта выгонять. Но как? Вот вопрос.

Нашелся смельчак. Семка Рукавишников, проходчик с подготовительного участка. Забудыжный был немного мужик. Приходит к самому начальнику шахты, говорит:

«Так и быть, выгоню из шахты черта».

Начальник ему:

«Ой, братец, сделай такое одолжение!»

«Но я, — говорит Семка, — не за так».

«Известное дело, проси, что хочешь».

«Три бутылки водки. Только, чур, наперед».

Начальник дает распоряжение, приносят водку. Семка тут же прямо открывает одну поллитровку, раскрутил ее винтом — и в рот. Буль, буль, буль...

«Это, — говорит, — для храбрости.

Две другие в карманы запихал. — А эти, — говорит, — чтобы с рогатым сговориться и за твое, начальник, здоровье выпить с ним».

И пошел Семка из кабинета начальника прямо в шахту. Совсем быстро обернулся. Идет и козла за рога тащит. Смеху было! А еще лучше смеяться стали, когда узнали, что козел-то этот Семкин же и был. Возле шурфа пасса и свалился, дурак...

— Не козел, а Семка дурак-то! — Митька с досадой матерно выругался.

— Чего так?

— Дурней дурака! Три бутылки! Да я б на его месте заломил такое... И никуда не делись бы. План ведь горит! Да за план начальник шахты что хочешь отдал бы! Простофиля!..

Сараев исподлобья пристально осматривал Митьку.

— Ох, парень, до чего ж ты все-таки...

— Чего?

— Глаза, говорю, у тебя завидушие, руки загребушие.

— Если деньги сама в руки плывет, чего ее упускать?

— Жадюга ты, Митька. Ой, жадюга.

— Ну ты, Сарай, поосторожней. Понял?

— А чего мне осторожничать? В соседях живем. Вижу.

— Чего ты видишь-то?

— А вот давай, Митька, рассудим так. Сам ты получаешь. И не так уж плохо... Ты молчи, молчи... Валька в ламповой работает, может, чуть меньше твоего получает. У тещи — какая-никакая пенсия, твой хлеб не ест да круглый год приторговывает: то огурчики, то лучок, то помидорчики, то ягодки на базар тащит. Свинью каждый год выхаживаете — мясо свое. Яйца — свои. Иждивенцев — один Витька. На что деньги тратишь?

— А что, думаешь, мало расходов?

— А вот расходов-то и не видно. Что — дом у тебя как дворец, а во дворце этом — ковры, меха, шифоньеры? Золотые часы носишь? На Вальке твоей шелка?..

— А у тебя? Ты на угле работал...

— Ты меня с собой не равняй. Я четверых детей воспитал. Баба ни дня на производстве не работала — дома дел хватало. И все равно — что надо, все у меня есть. Сколько получал, столько и тратил — на дом, на семью. А ты-то свой капитал куда складываешь? На книжку?

— На книжку! — хмыкнул Митька. — Да у меня ее сроду и не было.

— Говори.

— Проверь! Проверь!

Сараев махнул рукой.

— На что мне это нужно: чужие деньги проверять. Хозяин — барин. Куда хочешь — туда и девай. Мне бы одно: чтоб меньше стонал, что мало тебе платят. Слушать уже тошно. Ну сколько тебе надо, чтобы ты насытился? Может, миллион?

— Миллион? — Митька ослабилась. — А что. Давай, я не откажусь.

— Ну, допустим, дал я тебе миллион. И что бы ты с ним сделал? Как распорядился?

— Хо-о-о, мать честная, спрашивает он. — Митька заерзал на рештаке, сдвинул на затылок каску. — Я б...

— Ну, ну? — любопытствующе улыбаясь, Сараев смотрел на Митьку, ждал, что он скажет.

— Сперва пальто бы себе справил. Хорошее. Драповое. С черным каракулем...

— Это две с половиной сотни. Дальше?

— Костюм... Туфли...

— Еще две сотни. Хотя и многовато. Но пусть. На обмывку ведь тоже что-то уйдет. Ну, а дальше? Вальке-то что справил бы? Доху цигейковую?

— Где ее возьмешь? Да и зачем она ей?

— Ну, пальто новое. То-то, в котором она ходит, не очень уж.

— Чего не очень-то? На две зимы еще вполне хватит...

— О! Ну не жадюга ли ты? У тебя ж миллион!

— Ну лад-но, Сарай, куплю, куплю ей новое пальто!

— В уцененном магазине? Ну пусть хоть такое. Еще куда растрачивать деньги будешь?

— Крышу дома починил бы.

— А новый строить не хочешь?

— Зачем он мне?

— А Витьке? Он ведь женится, дети пойдут.

— Пусть ещё сам вырастет.

— Но все это, вместе с домом — мелочи. А у тебя миллион! Тыща тыщ! Смыслишь? Тут надо что-то такое... Ну?..

Митька поскреб затылок.

— Во-о-о. Схапать-то миллион схапал, а как распорядиться, и не сообразишь.

— Не волнуйся, соображу.

— Так скажи.

— А чего ты меня пытаешь? Куда хочу, туда и дену. Мой миллион!

— Твой, твой, — засмеялся дядя Петя и поднялся. — Вставай, миллионер, пойдем рештаки донашивать. Теперь тебе, богатому, может, и все равно, а нам с парнем надо хоть по сколько-нибудь заработать сегодня...

Каждую смену мы так и ходили втроем: дядя Петя Сараев, Митька Логачев и я. Доставляли в шахту или с участка на участок или выдавали на поверхность электродвигатели, разную аппаратуру, комбайны, металлическую крепь, рештаки, насосы — да мало ли что! Для тяжеляжников работа всегда есть. Нет своей — дадут чужую: грузить инертную пыль, цемент, доставлять в лаву лес или переставлять скребковые конвейеры...

В самом конце месяца на шахте объявлялись дни повышенной добычи, они и сейчас объявляются, только называются немножко иначе — дни высокопроизводительного труда. Возможно, в будущем их станут называть еще иначе, но суть таких дней все равно останется прежней. Это всего-навсего авральные дни. Месяц кончается, а плана нет. Вот и перебрасывается в срочном порядке с других участков на добычные все, что только можно: люди, материалы, оборудование... Жажнули хорошенько, наверстаи упущенное за месяц, и снова все и всё по своим местам до конца следующего месяца.

В тот день как раз объявили повышенную добычу, и нас отправили на перестановку конвейера в лаву десятого участка. Перестановка — дело в общем-то нетрудное. Нужно разобрать конвейер, по частям перенести на другую дорожку, поближе к груди забоя, и снова собрать. Лава на десятом участке была небольшой длины, стоял всего один конвейер, и задание наше было тем более легковыполнимым. Мне поручили разбирать и собирать рештачный став, а дядя Петя с Митькой принялись за перестановку привода.

Сделав все, что требовалось, я подошел помочь Сараеву и Логачеву.

— Тут, парень, и вдвоем-то тесно, — возразил дядя Петя, — посиди в стороне, отдохни. Мы уже тоже кончаем.

Я отошел к костру и сел на почву. Костер — это разновидность крепи, которая возводится на сопряжении лавы и штрека, где особенно большое давление. Представить костер очень легко. Именно костром складывают наколотые дрова, чтобы они скорее сохли. Параллельно друг другу на землю кладут два полена, на концы их поперек им — два других, поперек этих — следующие два... Вырастает как бы щелястый сруб. Почву и кровлю в лаве распирают костры, выложенные из толстых чурбаков длиной метра в полтора. Костер — крепь хорошая, надежная, может принять солидную нагрузку. И возводится довольно просто.

Митька ставил последнюю распору на приводе. Дядя Петя наматал на барабан «собаки» — ручной лебедки — канатик, подал «собаку» мне:

— Отнеси в конвейерный.

Только я выбрался на конвейерный штрек — метра каких-нибудь три — как сзади звонко, словно выстрелили мне в спину из пистолета, треснуло. Я машинально присел и втянул голову в плечи, будто надеялся, что хоть и обрушатся на меня сотни тонн породы, все равно

голова моя останется целой и невредимой.

Митька, конечно, не преминул злобно хохотнуть:

— Струхнул, инженерик! В штанах-то как — мокро, поди?

— Это ничего. Потолочина на свое место становится — растревожили мы ее немножко. Это не страшно, — успокоил дядя Петя. — А вот иногда бывает...

Сараев не договорил. В это самое время случилось, наверное, то самое, что «иногда бывает». Вверху треснуло еще сильнее, потом еще. Кровля заколыхалась, затяжки в нескольких местах проломилась, на конвейер посыпались куски породы.

— Митька — в штрек! — дядя Петя сделал прыжок и оказался рядом со мной.

Бросив топор, Логачев тоже было ринулся к нам, но тут же попятился назад: перед ним с сухим скрипом и треском, прогнувшись коромыслом, переломился верхняк, кровля ощерилась остроугольными, шевелящимися каменными плитами. Митька повернулся, чтобы бежать вверх по лаве, но и туда путь ему был уже отрезан так же переломившимся верхняком.

— Пр-ропадаю, падла! — Митька ша-рахнулся к завалу — наткнулся на костер, метнулся в сторону груди забоя — там был привод.

— Пр-ропадаю! — кинулся назад, к костру, и скользнул в щель между его венцами.

— Верно, Митька! — одобрил дядя Петя.

А кровля колыхнулась и поплыла вниз. Стойки заскрежетали, чурбаки костра в местах соприкосновения плавно и вязко, будто глиняные, стали сплющиваться, истекая пенистой водой. На наших глазах в какие-то несколько мгновений костер превратился в настоящий сруб. И в этом срубе без лазейки, без выхода был Митька Логачев!

Кровля, словно она расходилась толь-

ко для того, чтобы заманить Митьку в костер, наглухо запечатать его в нем, успокоилась. Ни уханья падающих глыб, ни щелчков, ни шороха сыплющейся породной мелочи. И в наступившей тишине послышался истошный крик Митьки, глухой, будто бы донесшийся издалека, с другого горизонта:

— Пр-ро-па-а-ал!..

— Дядь Петь! — я вцепился в руку Сараева.

— Да, брат, — сказал Сараев. В голосе его я различил скорее удивление, чем ужас от сознания случившейся беды.

А Митька кричал:

— Крышка мне, Сарай! Но ты это... Слышишь?

— Ну?! — отозвался дядя Петя. — Тут мы, тут, Митька! — и приказал мне: — Здесь будь, — и, оглядывая кровлю, осторожно стал пробираться к костру.

— Я тебе скажу, Сарай, но ты дай слово! — кричал Логачев.

— Говори, чего? — дядя Петя убирал с пути глыбы породы, обломки крепи.

— Дядь Петь, ты ж человек! Ты хороший! Как соседа прошу!.. Нет, ты, сука, дай мне сначала слово!..

— Говори, успокойся и говори, Митька. Я тут, возле.

— Деньги... Нет, ты, сволочь, слово дай сперва!

— Во, срамец, — тихо, со смешком сказал дядя Петя, — Сарай хороший, и он же — сволочь... Ты, Митька, говори или замолкни, сиди тихо!

— Дядь Петь, скажи Вальке, что деньги на чердаке в синей тряпке. Под стропилой. Но попробуй, курва, тронь! Голову отверну!..

— Он мне голову отвернет, — Сараев вывернул из породной мелочи переломленный верхняк.

— Чтоб все до рубля!

— А я почем знаю, сколько там у тебя? Тройка или двадцатка.

— Пять тыщ двести! Ровно! При сви-

дѣтеле говорю. Слышь, Володька?! Если, паскуды, тронете!..

— А если мы их поровну — и порядок?

— Убью!! Убью паскуд! Я копил! — Митька, должно быть, заметался, забесновался в костре в безысходном отчаянии и злобе, потому что в узкой, может, всего с толщину ладони, щели между чурбаками костра замелькал огонек Митькиного светильника.

— Чем убьешь-то? — Сараев был уже возле привода и что-то искал в породной мелочи.

— Рады, да?! Рады, оглоеды?! — и завыл: — Убью-у-у!..

— Погоди, Митька, — у дяди Пети был уже в руках топор, — я вот тебе оружие, чем убивать будешь, дам.

— Изгаляешься?! Рад?! Ну, скажи Вальке!..

— Сам скажешь. А сейчас замолкни! Надоел уже! — строго прикрикнул дядя Петя. — А то точно будут тебе кранты, — и, оглядев кровлю над собой, размахнулся и всадил топор в венец костра...

Совершенно неврежденного, но бледного Митьку мы вытащили на конвейерный штрек, усадили на почву, но он свалился кулем на бок и судорожно зарыдал. От шока, от радости, что остался жив.

Пришли добытчики. Один из них, видимо, бригадир, спросил:

— Что это с ним?

— Отойдет, — Сараев коротко объяснил, что случилось.

— Может, врача вызвать?

— Отойдет, — сказал дядя Петя. — Грузить-то сегодня рано не начнете.

Три круга целиком менять надо... Цепь конвейера осталась не натянутой — не успели. Вы уж сделайте, а мы поведем его.

— Какой разговор, — согласился бригадир.

Митька перестал рыдать, поднял голову, осмотрел всех мутным угорелым взглядом, пробормотал что-то невнятное, подхватился и, спотыкаясь и покачиваясь, побежал по штреку...

Увидели мы Логачева в мойке. Он уже помылся, но помылся наспех: на лбу и висках чернела угольная пыль. Митька торопливо одевался в чистое. Подойдя к нему, дядя Петя сказал:

— Не суетись. Никто не побежит за твоими тыщами. А держать-то их надо бы все-таки на книжке. Неровен час — и в самом деле чего...

Митька окатил дядю Петю, потом меня презрительным взглядом.

— Скоты! Пошли вы к... — скомкал полотенце и, на ходу запихивая его в карман пиджака, направился к выходу.

— Это уж наше дело, куда идти. Верно? — дядя Петя подмигнул мне и засмеялся своим легоньким смешком.

На следующий день Митька Логачев не явился на наряд. И вообще я его больше не видел. Правда, однажды, с полгода спустя, я шел на занятия в техникум и, проходя мимо продовольственного магазина, обратил внимание на возчика, сгружавшего с телеги ящики с пивом. Мне показалось, этот возчик был Митька Логачев. Как следует я его не разглядел — спешил. Дядя Петя Сараев к тому времени уже вышел на пенсию, так что уточнить было не у кого.

Владимир Власов

ИСКАТЕЛИ БОМБ



Концлагерь на сорок тысяч человек при необходимости вмещал тысяч шестьдесят. Люди всех убеждений и верований, уголовные преступники и военнопленные, осужденные за побег, саботажи и вредительство, составляли основной состав заключенных.

Распределенные по рабочим командам, они, под звуки оркестра, выводились из лагеря на работы каждый день. В лагере оставались больные, доходяги (истощенные до предела и умирающие от слабости) и симулянты, готовые даже на членовредительство, лишь бы не работать на немцев.

Городок, вблизи которого располагался лагерь, за всю войну бомбили несколько раз. Но в последнюю ночь бомбежка была особенно жестокой, и в земле осталось много невзорвавшихся бомб.

Из постоянных рабочих команд заключенных для этой цели не брали, а вылавливали из оставшихся по любым причинам в лагере, что было не так просто в массе лагерных построек и служб. Поэтому будущих искателей бомб искали собаки. Почуяв запах заключенных, овчарки зверели и рвали поводки из рук эсэсовцев.

Облава продолжалась всего полчаса, а на плац согнали человек пятьсот. Больные и дистрофики, освобожденные от работы, ежились и постукивали деревянными башмаками, словно на морозе.

Июльское солнце не могло согреть истощенных до предела людей. В этой почкорной безликой толпе бойко шныряли симулянты, пытались узнать цель облавы. С самого начала облавы и больные и здоровые прятались кто где мог, предполагая отправку на дальний этап или в ближайший крематорий. Узнав, что их посылают искать невзорвавшиеся бомбы, опытные заключенные пытались изображать больных и калек, а новички растерянно переглядывались. Эсэсовцы безошибочно отделили и загнали в бараки всех доходяг. Остальных группами по десять человек направили к лагерьным воротам.

Впереди каждой десятки шел бригадир — немец-уголовник. Первая десятка прошла ворота, не снимая шапок. Идущий во второй группе скуластый русский новичок поднял руку, чтобы снять шапку, но сосед предупредил шепеляво и тихо:

— Не суетись — смертникам не положено.

В грузовой автомашине скуластый разглядывал своего соседа: высок, костист, взгляд тяжелый исподлобья, голова втянута в плечи, словно в постоянном ожидании удара, беззубый по-стариковски запавший рот с порванными губами как старая безобразная рана. На груди и на правом бедре — красный треугольник, перечеркнутый буквой Р и номер 67941.

«Русский, политический, судя по номеру, в лагере давно» — расшифровал новичок и спросил, тронув свои губы пальцем:

— Чем тебя?

— Сапогами, — равнодушно прошамкал беззубый.

Ничего не изменилось в его лице. Серые глаза смотрели угрюмо, спокойно. И от этого обреченно спокойного взгляда новичку стало страшно. Он и сам не знал, почему испугался. Ни одной четко сформулированной мысли у него не было. Но этот неосознанный страх так властно овладел им, что на какой-то миг сильнейший озноб потряс все тело, и тут же ему стало жарко. Широкие скулы зарделись от притока крови, а по спине потекли струйки пота. Он снял полосатую бескозырку и подставил ветру лицо. Обнажилась неровно стриженная рыжая голова. Маленький шустрый немец с зеленым треугольником (знак уголовника) ткнул пальцем в ярко-рыжую голову и засмеялся:

— Вот настоящий красный и снаружи и внутри!

На шутку никто не откликнулся. Даже конвоиры не улыбнулись. Новичок поспешно напялил шапку. Он рассердился на уголовника, забыл о своем внезапном страхе и уже готов был сцепиться с обидчиком, но беззубый положил ему на колено руку и прошамкал невнятно:

— Не трожь его — оно вонять не будет.

Машина мягко шла по широкой асфальтированной улице. Заключенные

примолкли, разглядывая зеркальные витрины больших магазинов, чисто одетых людей на тротуарах. Рыжий обратился к беззубому:

— Приходилось искать-то?

Беззубый молча кивнул и, привалясь к кабине, закрыл глаза.

— Как зовут? — не унимался рыжий.

Большие серые глаза, оперенные ранними морщинами, приоткрылись удивленно, кольнули сердитым взглядом неугомонного новичка. Дрогнула тяжелый подбородок:

— Звали Федором... а на кой черт тебе? Тут номера...

Рыжий пригнулся к Федору, взглянул в глаза. Они были спокойны и угрюмы. Заикаясь от злобы, рыжий сказал:

— Это тебя здесь так воспитали, а я — ч... ч... человек. У меня им... мя...

Уголок разорванного рта пополз в горькой усмешке:

— Ну... у? Какое имя?

— Леонид...

— Добро, Леня. Только человеку-то тут шибко трудно. Послушай-ка, о чем толкуют камрады перед смертью.

И Федор указал глазами на шустрого немца. Оживленно жестикулируя, немец объяснял на лагерном жаргоне пожилому французу и поляку богатырского сложения, что около невзорвавшейся бомбы всегда можно пожить.

Из страшной мешанины немецких, французских, русских и польских слов, сопровождаемых точными жестами и богатейшей мимикой, слушатели поняли, что бомбу обычно выкапывают два человека. Сначала они сменяют друг друга. А с глубины трех метров один углубляет лопатой поисковый шурф, второй поднимает на поверхность ведром с веревкой измельченную породу.

Каждые двадцать минут бригадир посылает на смену уставшим искателям бомб новую пару смертников. Охрана выставляется далеко, и практически в

радиусе двухсот метров вся территория принадлежит заключенным. Все жители с этой площади выселяются заранее и в домах всегда можно украсть что-нибудь съестное.

Шустрый немец с упоением рассказывал, как в темном подвале он провалился в бочку с повидлом, как ему присвоили кличку Мармелад, как пировала возле этой бочки вся команда искателей бомб. У старого француза рот наполнился слюной, глаза жадно блеснули. Большая голова поляка склонилась к рассказчику, придурковатые сонные глазки совсем утонули в глубоких глазницах. Все, кто слышал голос Мармелада, сдвинулись плотнее, боясь пропустить хоть одно слово. Рассказ о небывалом пиршестве расшевелил почти всех. Страх близкой, почти неминуемой смерти отступил перед более близким чувством голода.

Федор заметил, что Леонид тоже потянулся на какой-то миг к рассказчику, но тут же отвернулся и посмотрел виновато. Федор, словно ничего не замечая, утомленно закрыл глаза и, казалось, задремал. В другом углу кузова дремал бригадир — немец-уголовник. Рядом с ним спал старый политический заключенный, известный всему лагерю по прозвищу Стальной Курт. Они не слушали рассказ болтливого шустряка о том, как тикает часовой механизм бомбы замедленного действия, отсчитывая время твоей жизни по секундам.

— Тик-так, тик-так, тик-так, стучит внутри бомбы механизм, а у тебя в голове будто кто-то каждый удар отбивает молотком, — объяснял Мармелад.

Федор приоткрыл глаза, сказал злобно:

— Вот врет, чертов ворюга: ни один человек не слышал, как работает механизм такой бомбы. Ее можно узнать только потому, что головка окрашена в желтый цвет.

Бригадир и Курт дремали в своем углу даже тогда, когда машина свернула с асфальта на старую булыжную мосто-

вую. Но машину затрясло так, что о сне нельзя было и думать.

Отгоняя тяжелую дрему, Федор потер лицо ладонями, осмотрелся и выругался шепотом, поминая черта, бога, американцев и англичан. Словно в ответ загредел голос бригадира, ругающегося на всех языках сразу.

Машина шла в дыму догорающих пожаров. Кое-где после ночной бомбежки огонь еще не затушили полностью. Оттуда тянуло тошнотворным запахом тлеющих тряпок.

Разговоры в машине сразу смолкли. Даже Мармелад сидел тихо, поджав и без того тонкие губы. Его острая крысиная мордочка сморщилась. Казалось, он сейчас заплачет. Федор снова помянул американцев и божью мать.

— Чем тебе союзники не угодили? — удивился Леонид. — Бомбежка как бомбежка.

— Скурвины дети, те союзники, — прогудел, как из бочки, могучий поляк. Он зло сплюнул за борт и, коверкая русский язык, добавил:

— Знов работнишки беднячки дома пожгли, а в городе у богатых ни одной бомбы не упало. — Маленькие глазки поляка уже не казались сонными и придурковатыми. Они смотрели на остатки домов печально и мягко. Поляк хотел еще что-то сказать, но конвоиры приказали выгружаться.

Виновница событий — бомба — упала между стандартными пятиэтажными домами и глубоко ушла в землю, раскрошив асфальт тротуара. Дома слепо смотрели на улицу провалами выбитых окон. Стекая крошка и кирпичная пыль покрывали весь асфальт.

Федор и Леонид копали в первой паре, направляя шурф по разрыхленной бомбой породе. Остальные смертники укрылись за дальним торцом дома. Песчаная почва подавалась легко. На небольшой глубине напарники менялись часто, и шурф углублялся быстро. Леонид скоро выдохся.

— Жми, что есть силы, — попросил Федор.

— Зачем торопиться?

— Не хочу пропадать зря! Вдруг она замедленного действия? Опоздай на секунду и....

Федор кивнул на развалины огромного дома и прыгнул в шурф. Обессиленный Леонид не сел, а упал на кучу холодного влажного песка. Прижимаясь щекой к песку, он выругался и просто-на-чал:

— Стараешься, землячок, за миску баланды продаешься...

Федор не ответил. Обливаясь потом, он сноровисто и быстро углублял шурф.

Вскоре их сменила новая пара. За торцом дома они присоединились к команде искателей, слушающих инструктаж бригадира. Показывая большим пальцем через плечо в сторону копающих, бригадир говорил, жестко чеканя слова:

— Пока эти будут искать проклятую бомбу, ищите чего-нибудь пожрать. Кроме жратвы, ничего не брать! Иначе...— Он показал руками, как затянется петля на шее вора, и добавил:

— Не жадничать! Есть будем только здесь — в лагерь ни крошки. Если поймает при обыске...— Он повторил красноречивый жест, затягивая невидимую петлю.

На поиски пищи ушли все, кроме Стального Курта. Бригадир ему ничего не сказал.

Смертники осмотрели несколько открытых квартир, нашли немного табака. Табак был плохой. Вернее, это был не табак, а смесь всех табачков, составленная из мелко нарезанных окурков сигар и сигарет. Ломать закрытые двери искатели не стали и вернулись к бригадиру. Закурив самокрутку из найденного табака, бригадир долго кашлял и ругался, проклиная хозяина этой вонючей смеси. Новая пара ушла выкапывать бомбу. Бригадир курил и ругался, остальные курили молча. Курт курить краденый табак не стал. Мармелад, притащивший

из комнаты молоток, гнул на бетонной ступеньке подъезда толстую проволоку. Кончив стучать, он подошел к закрытой двери и осторожно вставил загнутый крючком кончик проволоки в замок. Послышался легкий щелчок, и дверь тихо открылась. Мармелад гордо подмигнул и вошел первым. Бригадир одобрительно крикнул. Но и в этой квартире ничего съедобного не нашли, хотя искали даже в платяном шкафу. Перебирая вещи, висевшие в шкафу, Мармелад бормотал себе под нос:

— Какая тут еда?! Проклятая бедность — заплата на заплате... Если так дальше пойдет, придется менять специальность...— Он сильно потянул на себя большой выдвижной ящик. Ящик подался неожиданно легко, и Мармелад его не удержал.

Аккуратно сложенное детское белье вывалилось на пол. Мармелад чертыхнулся и направился в другую квартиру. Круша деревянными ботинками хрустящие осколки стекла и кусочки осыпавшейся штукатурки, за ним потопаали остальные. В открытую дверь потянул сквозняк, посыпал известковой пылью белье. Тонко и жалобно звякнули чудом уцелевшие, отлитые под хрусталь сосульки дешевого абажура.

Федор приотстал, поднял рассыпанные штанишки и рубашки, сунул в шкаф и закрыл дверцы. Сзади хрустнуло раздавленное стекло — в прихожей стоял Леонид и насмешливо смотрел на Федора.

— Что уставился? — хмуро спросил Федор.

— Ты, Федя, заботишься о немчурятах, как о родных...

— Дети все одинаковые...

— Вре...шь, землячок, эти дети — немцы. Фашистские деточки! Они уже в пеленках орут «Хайль Гитлер» и «Сталин капут». Вот они, зверята, целятся в тебя из пистолета...

Леонид ткнул пальцем в крупную фотографию, на которой был изображен

во весь рост немецкий солдат и скромно одетая женщина, а перед ними на резной скамье два мальчика с игрушечными пистолетами в руках. Ребятам было лет по пяти. Они улыбались и целились в объектив аппарата.

Гневно шурясь, Леонид млял рукой горло, сведенное судорогой, и хрипел:

— Ихний папаня сейчас пускает на распыл мою и твою семью, а мы тут его бебехи спасаем, бомбы торопимся выкапывать.

— Что ж ты, Леня, не убил этого папаню?

— Ну, знаешь...!!!

— Ты попал в плен специально? Чтоб с его детьми воевать?

Федор потеснил онемевшего от ярости напарника на лестничную площадку и плотно закрыл дверь.

Еда нашлась в полуразрушенном магазине — ящик маргарина и мешок сахара. Приторный маргарин ели все смертники, кроме Курта, посыпая сахаром и запивая водой, но много съесть не могли. Только поляк-великан прикончил пятисотграммовую пачку маргарина и распечатал вторую. Старый француз, пораженный необычайным аппетитом товарища, испуганно округляя глаза, пытался остановить его.

— Камерад боку манже!* Камерад боку манже! — лепетал он, хватая за плечо то поляка, то бригадира, будто бригадир не видел, как поляк тянется за третьим бруском маргарина.

Бригадир дружески похлопал по спине взволнованного французa и мрачно пошутил:

— Польский камерад — симулянт. Он хочет заболеть животом. Понос. Понимаешь? Тогда завтра его не пошлют искать бомбы. — Поляк, словно и вправду желая заболеть, попросил еще одну пачку маргарина. Мармелад засмеялся, смертники улыбнулись. Улыбнулся даже Курт.

* Товарищ много ест.

То ли могучий организм поляка впитал без остатка весь маргарин и сахар, то ли ему просто повезло, но он не заболел. Ночь он проспал спокойно и даже не слышал бомбежки. А такого бомбового удара никогда прежде не было.

Тяжелые бомбардировщики накрыли авиационные заводы фирмы «Хейнкеля», расположенные поблизости от города. По тому как мелко и непрерывно вызванивали стекла в окнах барака, по тому как время от времени сильно вздрагивал пол, можно было представить, что творится в районе заводов. Там небо полихало багровым отсветом пожаров, и непрерывный грохот взрывов глушил все звуки на огромном расстоянии вокруг. Федор проснулся от рвущего душу воя сирены. На нарах шептались заключенные:

— Тревога... слышь, как плотно самолеты гудят? Сейчас дадут фрицам прикурить...

После первого взрыва шепот смолк. Все напряженно вслушивались в ревущую ночь. Только после того, как особенно сильно трянуло барак, кто-то смачно крикнул, сказал, нажимая на «о»:

— Отливаются кошке мышкiны слезки.

А когда затихли грохот бомбежки и рокот улетающих самолетов, Федор услышал звуки, похожие на приглушенный собачий лай. Бесшумно приподнявшись на нарах, он увидел возле окна в отблесках далеких пожаров Курта. Восемнадцатый номер в лагере, где из первой тысячи осталось два человека, известный негибимой волей и бесстрашием Стальной Курт смотрел в окно и давился слезами. Кто-то из русских разочарованно шепнул:

— Плачет... а болтали, что он коммунист. Значит, своих все равно жалко.

В темноте послышался глухой удар. Шептавший вскрикнул, а окающий голос сказал:

— Дурак ты, Вася, потому он и плачет, что коммунист.

Утром на плацу, нарушая обычный порядок вывода рабочих команд, первыми выкликнули номера вчерашних искателей бомб. Команды смертников в том же составе покинули лагерь, но было их вполосину меньше. Вторая половина подорвалась вчера. На плацу эсэсовцы в бешеном темпе отбирали новых искателей бомб, новых смертников, прямо из рабочих команд.

В этот день машина с командой, в которой находились Федор и Леонид, двигалась в сплошном дыму, словно слепая, упираясь в бесчисленные завалы, отыскивая объезды огромных воронок, Федор, дремавший вчера всю дорогу, сегодня был возбужден и энергичен. Вытирая слезящиеся от едкого дыма глаза, беззвучно шевелил губами провалившегося рта, а однажды шепеляво похвалил:

— Постарались наши ребятки, постарались, милые...

Мармелад, подавленный страшной картиной разрушений, молчал.

Услышав приказ выгружаться, он проворчал:

— Здесь поживы не жди... здесь и законной баланды не получишь.

Старик француз и поляк-великан кивнули, соглашаясь: какой черт будет искать их, чтобы плеснуть пол-литра баланды.

Предсказания Мармелада сбылись полностью: невзорвавшаяся крупная бомба упала в центре большого цеха. Кроме авиационных моторов, здесь ничего не было.

Первыми копали Стальной Курт и поляк-гигант. Курт работал быстро, но сил у него было мало. Поляк играючи ворочал многопудовые обломки бетонного пола, расчищая место входа бомбы. Курт иногда мешал ему, и он добродушно гудел:

— Помалу, помалу, пан, вшистка едно капут нам...

Курт виновато улыбался, будто был лично виновен в неминуемой гибели поляка, и повторял:

— Капут... капут...

А в примитивном бомбоубежище плелись свои невеселые разговоры. Искатели бомб, осмотрев грунт в ближайших воронках от взрыва, единодушно решили, что работа предстоит очень тяжелая.

— Это не вчерашний песок, — горевал Леонид, — тут до второго пришествия будешь горбить — сплошная галька.

— Хватит болтать! — рявкнул бригадир. — Два русских на смену! Они подошли к устью будущего колодца под аккомпанемент глухих ударов металла о камень — поляк долбил ломом слезавшуюся за века гальку. Крупное лицо его блестело от пота, на висках от напряжения вздулись вены. Он не торопился вылезать из неглубокой ямы, стараясь углубить тот угол, где порода была помягче. Федор протянул руку, чтобы помочь поляку подняться на бетонный пол, и в этот миг лом звякнул, ударившись о металл.

— Есть! — враз выдохнули смертники.

Федор потянул поляка за руку и прыгнул на его место. Стоя на коленях, он осторожно и быстро убирал голыми руками гальку в том углу, где торчал лом. Поляк сидел на бетонной глыбе и вытирал широкой ладонью пот с лица. Его полосатая арестантская куртка была мокра насквозь. Даже белая тряпица с номером, пришитая против сердца, потемнела от пота. Рядом сутулился Стальной Курт. Побледневший Леонид отбрасывал от устья шурфа небольшие куски бетона, хотя это было совсем не нужно, и быстро, быстро говорил:

— Нашлась! Слава богу, нашлась! Пусть увозят! Пусть поскорее увозят.

А в яме ожесточенно сопел Федор. Срывая с пальцев ногти, он выковыривал гальку. В углу, где прежде торчал лом, показалась головка бомбы, окрашенная в желтый цвет. Судя положе-

нию головки, можно было догадаться, что бомба, пробив бетон, встретила спрессованную гальку и, развернувшись горизонтально, застряла в полуметре от пола. Федор погладил находившийся в земле металл, прошамкал чуть слышно:

— Здравствуй... дождался...

Он встал и, держа лом, как пику, сказал, словно приказывая: — Надо ее спрятать, она замедленная, а тут ей работы... — И показал рукой на авиамоторы, заполняющие цех.

Курт тронул поляка за плечо:

— Не понимай...

Поляк ткнул пальцем в яму, сказал, приглушая голос:

— Бомба тик-так, тик-так, тик-так. Секунда тик-так, минута тик-так... бабах. Алес моторен капут. Разумешь?

Федор неотрывно смотрел из ямы, стараясь поймать взгляд Курта. Худое, резкой чеканки лицо старого заключенного будто окаменело. Он встретил взгляд Федора и сказал тихо, но твердо: — Гут.

Федор потянул на себя самую крупную глыбу бетона. Поляк ухватил эту глыбу с другой стороны. Курт нагнулся рядом с ним, подпирая бетонную громадину плечом. Леонид продолжал отбрасывать мелкие обломки от устья.

— Помогай, Леня! — натужно выдохнул Федор. — Помогай! Мы им устроим свадьбу с музыкой.

Леонид заметался по неровному краю ямы, зачастил скороговоркой:

— Зачем? Зачем?! Надо сказать... взорвемся мы. Тут не фронт...

— А что тут, паскуда? — Федор схватил лом. — Убью!

Вчетвером они прикрыли неподъемной глыбой бетона головку бомбы. Поляк прогудел: — Добже.

Курт подтвердил: — Гут.

Они бегом бросились к убежищу. А Федор торопливо расширил яму в стороне от бетонной плиты, прикрывшей бомбу. Он работал так же старательно и напористо, как и вчера, но в каждом

движении длинного костистого тела чувствовался веселый и злой азарт. Вылезая из ямы, он подмигнул напарнику и сказал:

— Теперь и умереть не страшно...

Леонид топтался на краю шурфа. У него дрожали руки и ноги. Он отводил глаза, говорил, как в бреду:

— Я... я не могу... Давай скажем... И все... и конец...

— Ты ж человек, Леня!

Леонид заплакал. Федор толкнул его кулаком в грудь:

— Быстрее в яму!

Леонид сполз в яму, взял лом.

— Копать будешь до смены. Если выкнешь бригадиру, придушу.

Леонид работал лихорадочно быстро. Колодец, смещенный в сторону от бомбы, заметно углубился. Ярко-рыжая голова Леонида была теперь почти на уровне пола. Полосатую бескозырку и куртку он сбросил и работал по пояс голый. Зная со слов Федора, что работу часового механизма услышать нельзя, он все равно все время прислушивался. Ему казалось, что он слышит из-под бетонной плиты: «Тик-так, тик-так». На мгновение поймав пристальный взгляд Федора, попросил:

— Не смотри так, я не продам... я боюсь... я просто боюсь...

В бомбоубежище Федор сидел рядом с напарником. Уходили и приходили пары, докладывали, что грунт такой же твердый, что колодец углубляется очень медленно.

Старый француз сказал бригадиру, что грунт совершенно не разрыхлен бомбой, что она прошла где-то в стороне. Бригадир выругался и велел углублять шурф. Приближалась очередь русских. Леонид сидел, закрыв глаза. Он часто, прерывисто дышал. На тонкойшее судорожно двигался большой кадык, лицо покрылось красными пятнами.

— Двое русских... — начал бригадир и не закончил.

Пронзительный вой сирены оборвал его на полуслове.

— Тревога! — крикнул Мармелад с порога убежища. — Опять летят.

Где-то далеко ударили зенитки. Послышался гул самолетов. В убежище ввалился поляк. Он поддерживал задыхающегося от бегу Курта. Поляк что-то сказал, но бомбовый удар заглушил его слова. Убежище дрогнуло, сверху посыпалась земля — американские летающие крепости опять бомбили жилые массивы городских окраин. В районе авиазаводов не упало ни одной бомбы, но в страшном грохоте никто не слышал, когда взорвалась бомба в цехе моторов. После команды бригадира: «Двое русских на смену!» Федор и Леонид пошли к выходу. Явно замедляя шаг, Леонид первым

поднялся по лестнице. Его пошатывало от волнения. Так идут к виселице обреченные на смертную казнь.

Вдруг он закричал что-то тонким ликующим голосом и перепрыгнул через последнюю ступеньку. На месте цеха моторов торчали изогнутые детали железных конструкций и половина кирпичной стены. Федор почувствовал, как огромная ладонь поляка сжала ему плечо. Рядом, истерически всхлипывая, рыдал Леонид. Поляк сочувственно покивал головой, указав глазами на Леонида. Леонид комкал в руке полосатую бескозырку, закрывая ею мокрое от слез лицо.

Вместо ярко-рыжих волос Федор увидел на его голове кипенно-белую седину.

2. МЕЖДУРЕЧЕНСК



Борис Климычев



МАТРОС

Где ни бегай, ни ползай, ни лазай,
Берегов не минуешь родных.
Подошел катеришко чумазый,
Посопел и устало затих.
Не из дальних пришел он Америк —
Отвозил он людей на покос.
Вот с колхозницей сходит на берег
Забубенный парнишка-матрос.
В чухлом сквере засохшие клумбы
И в сарае — пивной павильон.
Парень сделал заказ, и про румбы
Заливает колхознице он.
И девчонке он кажется храбрым,
Этот самый чумазый Колумб.
Хоть звал он пока только швабры,
Да обтирку, да, может, колун.

Штормовая в речах его ярость!
Парня кличут уже на борту...
Но колхозницы платье, как парус,
Увлекает его в темноту.

Пароход трубой дымил, бил большими
 плищами,
На шнурочке вялилась рыбешка на
 ветру.
В сумерках на палубу поднялась
 милиция
И ссадила на берег парня поутру.
То ли был он жуликом, то ли
 безбилетником?

Я сидел на лавочке, на корме,
И незнакомочка, худенькая, бледная,
Своим тельцем тошеньким жалась
КО МНЕ.

--- Не обидишь, маленький? Не обидишь, миленький?..

А в глазах сияло: «Ну, обидь, обидь!»
Я читал ей нечто из щемящей лирики.
Это утро зябкое не могу забыть.
Разные на свете бывают приключения.
Кочегар замасленный с лавки нас
турнул.

Облас перевернутый пронесло течение,
Может, даже кто-нибудь утонул.
Ничего не знаю. Помню локти острые,
И она, дрожащая, чуть жива.
Кочегар ругался. Проплывали пестрые
Просто Робинзоновские острова.

Я был в этой чаше на прошлой
неделе,

Но что-то тропинку никак
не найду.

Деревья, как грешники, руки
воздели,

Как будто они обгорели в аду.
И вспомнились самосожженья

и Никон,
Преданья, поверья седой старины.

Вот тополь у мостика, хмуро поник он,

А в небе теперь ни звезды, ни луны.
И вроде в низине не клочья

А белые плавают тихо гробы.

Да черт меня дернул подняться так

Да будь они прокляты эти грибы!
И вдруг — старушонка, ходячие

моши:
— Чо, милый, не видно грибочков

И сразу все стало понятней

и проще.
Тайга, как тайга. И дорога легка.

Таинна, как таинна. И дорога легка.



Он пришел на пруд. Пришла она.
Выглядила волны тишина.
И от первых капель с высоты
Вздрагивали слабые цветы.
Он спросил, когда разлил их дождь:
«Если стихнет, вечером придешь?»
Расплывались кольца на пруду,
Отвечала: «Вечером — приду».
Как под землю канули ветра!
Не проредить ливня до утра.
Но, когда смеркалось на земле,
Две калитки вскрикнули в селе.

ЗВЕЗДА

Как быстро деревья темнеют,
И лист прикипает к листу!
В потемках дома каменеют,
И можно увидеть звезду.

Родившись над облаком клена,
Над садом, где воздух сырой,
Она не сбежит с небосклона,
Пока не сольется с зарей.

Как душу палит и возносит
Какая-то кроха огня!
Теперь уж привычки не бросит
Ночами тревожить меня.

Ей нужно, чтоб вместо ответа
Я с вечным биеньем в крови
Приветствовал словно рассветы
Бессонные ночи свои.

У ДРУГА

Подмороженный крик сорок.
В колее — ледяные слитки.
Ветер все пораскрыл калитки,
Глухо просится на порог.

Пусть ночует в моей избе,
Я его на замок закрою...
Этой меркнушею порою
Давний друг меня ждет к себе.

Закурю у окна, а он
Вскипятит на конфорке чаю

И, проигрыватель включая,
Про опавший поставит клен.

И опять мне на ум придет,
Как согреюсь в комнатке тесной,
Что без друга и грустной песни
Память мало душе вернет.

А вдвоем легко вспоминать!..
Скоро в стекла рассветом брызнет,
И на месте двух наших жизней
Обозначится вдруг одна.

Таисия Шатская

Берегите белую птицу

В редакционной почте бывает немало горьких писем о семейной жизни. Два таких письма легли в основу очерков журналистки Таисии Шатской «Жалоба» и «Ненависть». Их дополняет третий — «Каждый день» — рассказ о доброй работающей семье, о душевной привязанности, любви и отзывчивости.

ЖАЛОБА

Вот вам и жалоба! Четко определены действующие лица. Пьеса, да и только!

Он — отец «чудесного, маленького, единственного в тридцать два года сынишки». Она — его жена, хлопотливая, заботливая хозяйка дома. Соседи — муж и жена, приятели семьи по возрастному признаку. Главная героиня — «грязная, пожилая женщина, пьяница». Суть конфликта: «Как и почему он в праздничный вечер пошел не домой, а к этой старухе, о чем мог с ней говорить?». Немаловажная деталь: скандалу сопутствует водка, в разной степени потребляемая его участниками.

Вот и позади деревня с поэтическим названием, откуда пришла жалоба. Все таки, как написано. И все далеко не так просто. Дорога петляет меж островками буйной и в зимнюю пору зелени хвойного леса, решительно вспарывает гору. Если бы в мире человеческих взаимоотношений вот так же стремительно устранялись разного рода препятствия на пути к взаимопониманию.

Кирпичный совхозный дом при въезде в деревню — добротный, основательный, на два хозяина, с двумя отдельными входами. В квар-

тире — четыре комнаты. Горит ухоженная печь. Над печью веревка, а на ней в ряд, как игрушечные солдатики, ползунки на прищипках. На полу — серьезный щекастый хлопчик, который ничуть не пугается посторонних, смотрит с любопытством. С ребенком дома отец: «Отгул взял, жена к родственникам уехала». На вопрос: «Как живете?» «Посмотрите», — говорит. Аккуратно выстроились в кухонном буфете тарелки, разбежались по полу просторной гостиной веселые тканые дорожки, и, как центр благоустроенности быта, темного дерева спальный гарнитур в дальней комнате. Но только вопрос-то не об этом, и потому приходится уточнить: «Как живете между собой?». «Нормально», — отвечает хозяин и закуривает. Он много выкурит в этот день и долго будет, окутанный дымом, всматриваться в мартовскую метель за окном. Уснет и проснется сынишка, сменятся ползунки над печкой, хозяин задумчиво и тревожно будет уклоняться от разговора о неприятном для него эпизоде. И только когда речь пойдет о работе, о его профессии, оживится, даже обрадуется такому повороту темы. И вроде при этом распрямится.

Он был монтажником. Работал на знамени-

тых стройках Кузбасса. Такое не вычеркнуть ни из биографии, как бы она ни сложилась в дальнейшем, ни из характера. О женитьбе не распространяется. Только женившись, оказался в деревне. Собственно, эта деревня ни ему, ни ей не своя. В том-то все и дело, что они здесь новенькие. Просто сторона, где в городе неподалеку родственники, не чужая. А вот заняться-то в деревне среди зимы рабочему высокой квалификации оказалось нечем: «На телятах я, здесь все же заработки получше...» Дела, как видно, «на телятах» у него не плохи, охотно говорит о привесах, еще охотнее о том, как обсчитывают и недоплачивают, но и в этом рассказе чувствуется деловая озабоченность.

Что же занесло этого человека однажды в праздничный вечер в чужой дом, когда он знал, что в чистой его квартире стол накрыт и жена ждет-тревожится?

«Выпивши был», — говорит и курит, курит.

«Грязная, пожилая женщина, пьяница» — это строки из жалобы. Но недаром говорится: «Не все то золото, что блестит». С первых шагов в неухоженом дворе этой одинокой женщины чувствуется душевная щедрость хозяйки и отзывчивость ко всему живому. Плохонькое крыльцо и покосившаяся избушка на краю села — не столько вина, сколько беда матери, которая вот уже тринадцатый год худеет бедно поднимая одного за другим пятерых своих детей, одна, без мужа. Гуляет во дворе гладкая ласковая собака без цепи, выходят на крыльцо два пушистых сибирских кота: их здесь не пнут, не обижают. Грязновато в кухне, зато уцелели здесь, в тепле, куры в пору злых морозов. В нижнем ящике старого комода крольчиха прикрывает своих деток. Соседский мальчишка смело, как к себе домой, приходит посмотреть на них.

Хозяйка на перевернутой табуретке примостилась у старенькой, перевязанной швейной машины с полустершейся надписью «Зингер», крутит-вертит в руках кусок ткани, никак не может сообразить, с чего это вдруг заинтересовались ее жизнью, а когда доходит до несмысла появления нежданных гостей, гово-

рит громко, почти кричит, с плачем и вызовом:

— Выпиваю, но не больше других. Никто в деревне обо мне худого не скажет!

Был как-то, вспоминает, случай. Подняла на дороге пьяного соседа, отвела его жене, а та — руки в боки: «Ты-то пошто с ним? Пуцай бы замерзал...»

Нелегко без мужа с малыми ребятами в деревне. Что-либо подвезти по хозяйству, — шоферу бутылку ставь, пробки перегорели — угошай электрика. Праздник пришел, у всех гости, и ей на люди хочется: тут уж, если выпила, все увидят. Всю жизнь работала дояркой, руки заболели — в скотники перевели, а в скотниках, известное дело, — одни мужики. Огрубела, шумной стала. А вот доброты не утратила.

В тот злополучный праздничный вечер, когда появился на ее крыльце «новенький» и сказал: «После бани я», недолго думая, по своему понятию о том, как можно лучше приветить человека, налила ему полный стакан из припасенной для праздника бутылки «Экстры», и себе плеснула, чтобы уважить неожиданного гостя, который выпил да ушел, а тут вдруг вбегают соседи, у которых он в бане мылся, и жена его: «Пропа! Замерзнет!» И, правда, чуть было не замерз потом незваный гость, наделал этот случай переполоху и бросил черную тень на худую избу и без того не самую светлую репутацию бывшей доярки.

Теперь плачет она и вытирает слезы заглубленными руками. Потом вдруг спохватывается и, как доказательство того лучшего, что есть все же в ее жизни, достает письма и фотокарточки дочери, что стала агрономом, второй, что поехала учиться на сельского специалиста, говорит о сыновьях: один скоро в армию пойдет, другой профтехучилище кончает, младший — в школе-интернате.

Тяжко сложилась жизнь этой женщины, и, возможно, есть в этом немалая доля ее собственной вины. Только вот ведь что часто получается. Разговариваю с администрацией совхоза. С готовностью подтверждают: да, мол, работница не лучшая в отношении трудовой дисциплины, тем более на фоне такой фермы,

где как раз с дисциплиной все в порядке, случались, мол, факты выпивок, «разбирали» ее.

А когда о работе опять же начинаю спрашивать, не могут не признать, что к делу у нее душа всегда лежала, неплохая доярка была, о кормах заботилась. Неплохая доярка была... Может быть, это достаточное основание для того, чтобы подумать о квартире для нее, чтобы поинтересоваться ее нелегкой жизнью, чтобы помочь не только выговором, приказом, разбором, обсуждением, но и добрым словом, заботой, вниманием?

В самом деле, почему в воспитании и перевоспитании взрослого человека мы больше полагаемся на угрозу, на страх, на суровое обязательство? В сутолоке буден, в масштабах производственных забот не утрачиваем ли порой душевной пристальности друг к другу, способности понять человека, умения его (а не себя, поучающего) выслушать, не теряем ли дара человечности? Был случай. Директор совхоза в сопровождении бригадного начальства нагрянул к дояркам этой самой деревеньки. Сидит наша героиня с приятельницей и, по всему видно, выпивают бабоньки, только ни бутылки, никаких других улик нет. «Сообразите», — кивнул директор. Подхватились, всполошились: «Сейчас, сейчас...» И выволокли припрятанный бидончик запретного зелья. Тут их, как говорится, и «накрыли». Слов нет, надо бороться с самогоноварением. Но что-то постыдное было тем не менее в разоблачении на сей раз.

Обида, словно тяжеловесный трактор, может поднять силу взаимопонимания и открытости. Такое страшно не только в масштабах хозяйства, бригады, одним словом, производственного коллектива, но и в пределах совсем иного коллектива — семейного. Только там все это проявится куда сложнее и необъяснимо порою, переплетенное тенетами чувств и привязанностей.

Два дома — две жизни. В одном уже подводится предварительный итог прожитому. В другом еще много впереди. Не всегда, возможно, внешнее благополучие отражает подлинную глубину и человечности, и других достойных качеств. Иной вполне положительной

жене, заботливой хозяйке кажется невероятным, что ее ухоженный муж вдруг потянулся из чистого светлого гнездышка к чему-то «грязному, скверному, недостойному»... Если бы в эту минуту отчаяния она могла шаг за шагом проследить собственный путь борьбы за свое счастье... Не лишила ли она, например, человека его любимого дела? Не подменила необходимых его душе друзей необходимыми по ее понятию людьми? Таких вопросов, пожалуй, может быть много. И все они — из арсенала духовного мира.

Не знакома ли вам такая картина? Все дружно хвалят супругу: и хороша-то, и добродетельна, и труженица, каких мало, и весь дом на ней. И при этом: а он? А он, чаще всего, такой-сякой. Где и когда нарушена гармония? Видимые добродетели очень даже логично могут быть теми самыми гусеницами тяжеловесного трактора, что подмяли в свое время невосполнимые духовные ценности.

Побывав в деревне с поэтическим названием, познакомившись с участниками драмы одного праздничного вечера, я задумалась. А если бы бывшая доярка не вызвала ни сочувствия, ни понимания ее тяжелой жизни? Родился бы пример поучительный во всеобщей борьбе с пьянством. Но, возможно, куда поучительней видеть явление не столь однолинейное?

В деревню приехали новенькие. Они хотят жить и трудиться, они хотят во многом заново начать свою биографию. Но в первых же контактах с окружающими выбирают друзей не самых надежных: в семье, близкой по возрасту, и пьянки, и драки, и длинные языки. Они-то, эти пьянки и языки, не падают далеко на краю села, и вот при малейшем поводе рождается драма — пища души, и красноречивое живописное послание, полное благородной жажды рассчитаться с «грязной пьяницей», летит в областной центр,

Захожу в совершенно нейтральный по отношению к этой истории дом. Время обеда. Хозяин садится к столу. Хозяйка подает щи. Трудовая семья. Разумный ритм рабочей жизни. Все здесь надежно, добротно, чисто. И рассуждения хозяев разумны, человечны. Нет, у них никогда бы не поднялась рука написать

плохое о бывшей доярке. Они жалеют эту женщину. Они уверены: «Пройдите по всей деревне, большинство скажут так же...»

Пусть это всего лишь порыв, пусть это первое горькое удивление: «Как и почему он пошел не домой, а к этой старухе?» Но ответ на этот вопрос разумнее всего, пока не поздно, искать не в чужом, а в своем собственном доме, не в чужом, а в своем собственном характере, не в чужом, (пусть даже недостойном по всем внешним приметам), а в своем (пусть даже исключительно положительном) образе жизни.

НЕНАВИСТЬ

Прежде чем пригласить читателя к совместному исследованию очередной неприглядной истории, вздыхая: ох, и немало сегодня семейных конфликтов, а вот пишут на эту тему не так уж много.хлопотное это, зачастую трудно доказуемое дело: мир чувств нелегко поддается анализу. Нередко, отчаиваясь, ловишь себя на мысли: а не частный ли это случай? Но вот по дороге в поселок, откуда пришло очередное тревожное письмо о конфликте в семье, приглядываю примерный круг лиц, с которыми необходимо встретиться, и некоторые адреса: соседи, врачи, учителя, место работы отца, место работы матери, милиция... Вот какова орбита причастных к чьей-то личной неприятности людей. В данном случае — такова. Бывает и буда больше! И уже по одному этому даже частный в какой-то степени случай поучителен.

Перечитываю вслух, теперь уже для шофера, письмо хорошей ученицы средней школы, старшеклассницы Гали, которая сама сообщает о том, что учится хорошо, подтверждая этот факт грамотным, логичным и страстным письмом, весь смысл которого сводился к тому, что Галя люто ненавидит отца, даже готова его убить. На трех заполненных с обеих сторон тетрадных листках в клеточку часто встречаются слова: «наглый», «хитрый», «подлость», «ложь» и ни разу — «пьянство», «водка».

— Что-то странно, — говорит водитель.

«Мне очень жалко маму, она еще молода, а стала старухой», — пишет Галя.

Впереди над дорогой сгущаются серые тучи, они надвигаются на нас, обволакивают со всех сторон, все собирается, собирается и никак не разразится гроза. Тревожно замерли зеленые островки леса в поле. И нам в ожидании предстоящих встреч беспокойно. Все-таки неясно, чем же так плох отец Гали?

Добротное здание столовой, универсама. Два металлических льва лихо взмахнули хвостами над одним из заметных зданий под названием «Бар», а рядом — покосившаяся вывеска «Союзпечать» над старым домишком. Районный центр распахнулся оживленной площадью и остался позади. Дом, откуда пришло письмо, оказался за мостом, за речкой, в безлюдном переулке за крепким забором, ладный и ухоженный, с громогласной собакой на цепи, с замком на двери.

— Были где-то девки, — нехотя отозвалась на вопрос соседка и в дом не пригласила.

«Он переругался со всеми соседями», — вспомнились строки из письма. Стоя на крыльце, под лучами неожиданно пробившегося, вместо грозы, солнца, мы с водителем осторожно заговорили об этом.

— Бог с вами, — сказала соседка, — он-то в чем виноват? Это они его затюкали совсем, мать с дочерью... Да вон, под горой, избушка их бабки. Бабка вам все расскажет. Только стучите сильнее.

Избушка совсем дряхлая. Дверь открывается не скоро, со скрипом. Бабка глухая, и глаза слезятся. В доме топится печь, сушатся травы. Как же зимой старушка здесь одна? Когда-то с нею жил сын Василий. В этот самый дом привел жену. Родилась одна за другой внучки, бабка нянчила их. Только не пожилось невестке со свекровью. Дело прошлое, кто его знает почему, да и почему бы молодым не обзавестись собственным домом? Купили вот этот крепкий да ладный, что на горе. Василий — парень работающий. Вот учиться ему не пришлось: год рождения у него такой — 1927-й — пока мал был, в колхозе работал, семнадцать исполнилось, последний этот год призывным был, на фронт попал да служил долго.

— Она отворотила и родных, и детей от него. Я — бабушка, я качала их, а они воды мне не принесут. Угнала меня, одни стали жить, и

Все равно его с белого света стоняет, хочет, чтобы все ей досталось, — плачет бабка.

Большого мы от нее не добились.

В письме Гали есть и конкретное: «Он уже выжил нашу соседку — врача с престарелой матерью, а теперь хочет выжить других соседей...»

Так как на двери дома все еще замок, собака надрывается от лая, а соседи как сквозь землю провалились, — такое безлюдье вокруг, — отправляемся совсем в другой конец поселка разыскивать бывшую соседку-врача.

Если бы слышала Галя, как рассказывала о ее отце эта приветливая женщина!

— Он и на тракторе, и на косилке, он хороший механизатор и вообще отличный работник, и все по дому делает сам, даже корову сам доит. А отношение к нему в семье скверное. Двадцать лет рядом прожили, ни рубашки порядочной, ни костюма на нем не видела, все в рабочем. А человек он больной, теперь вот и нервный стал. Ему работа нужна.

Казалось бы, все постепенно встает с головы на ноги. Тем более, если добавить, что в школе, где теперь работает отец Гали шофером, о нем самого хорошего мнения, больше того, зная о его семейных неурядицах, сочувствуют ему. В милиции вполне определенно заявили, что среди семейных дебоширов такой не числится, потом вспомнили, что как-то по заявлению жены и дочери он был доставлен в отделение, но отсюда его пришлось направить в скорую помощь, так как он оказался трезв, к тому же было ясно, что не он бил, а его били...

Еще несколько мнений немалого круга людей, с которыми удалось побеседовать:

— Человек он горячий, так как физически нездоров...

— По работе безотказный, работающий...

— За детей трясется, для них старается...

— Он у них в доме за собаку, на чердаке спит...

И все-таки письмо в редакцию — не злобная клевета, не подлая анонимка, оно вполне искренне написано дочерью о своем родном отце. Вот где начинается сложность понимания так называемых семейных конфликтов, вот где легче уйти за спасительный барьер: мол, это

частный случай, и куда труднее увидеть общественно значимое явление.

— Простой трудовой человек этого не поймет, он хочет заработать как можно больше и все, — сказал мне товарищ, когда я поделилась с ним этими мыслями.

Вот и сейчас стоит рядом со мной на высоком скрипучем крыльце, куда привели крутые ступени деревянного здания больницы, «простой трудовой человек», который сначала гаркнул, увидя на пороге посторонних, потом, догадавшись, кто мы, елеиню улыбнулся. Это — мать Гали, медицинская сестра. Вопреки письму ее облик не вызывает сочувствия. Сорок два года этой гладкой представительной женщине. В каждом ее движении — сила, уверенность, хватка. Среди пеленок и ползунков, развешанных над крыльцом (в детское отделение ее перевели, так как скомпрометировала себя среди взрослых больных), она вполне откровенно, желая доказать свою положительность, следующим образом демонстрирует трудовое рвение:

— Все хватаю и хватаю, людям — праздник, я дежурство беру, ни единого праздника в доме не было. У других столы накрыты, у нас никогда...

— А почему бы и вам не накрыть стол к празднику? — спрашиваю.

— Все для дома стараюсь. Деньги на обеих девочек на книжку положила. К прокурору ходила советоваться, прокурор говорит: «Правильно!» Это на случай раздела.

— Муж вам деньги отдает? — спрашиваю.

— Вот так, — цепко сжимает она руку, демонстрируя, как выхватывает у него деньги.

— Он что, может пропить?

— На выпивку ему много не надо. Вы бы посмотрели на него. Там смотреть не на что. Недаром умные люди говорят: «Не пара он тебе...»

— Так разошлись бы.

Наступает глубокомысленное молчание. Вот такое же молчание наступит позднее, когда заревавшая, запутавшаяся Галя будет кричать, не стесняясь нашего присутствия, на мать:

— Что молчишь?

Пока мать Гали, поджав губы, прикидывает, что выгодно и что невыгодно говорить ей на

сей раз, мы отправляемся в другую больницу, где лежит ее муж после последнего побоища в доме. Лечащий врач обстоятельно рассказывает о хроническом и сопутствующих заболеваниях этого человека, говорит, что вот и шофером-то ему работать теперь тяжело, а все же работает, несмотря на инвалидность третьей группы.

— Что-то не похоже на него, — узнав о содержании письма, говорят медицинские работники.

И вот входит он сам, отец Гали. Он очень волнуется на первых порах и никак не может взять себя в руки. Потом успокаивается и здраво рассказывает, что цель у него одна — выучить дочерей, вот старшая уехала учиться в институт, младшая пойдет в десятый класс, способности у них есть, значит, надо учить, помогать. Слушаю его тихий рассказ и представляю, как двадцать с лишним лет назад вернулся он в родное село со службы и был видный не видный, но вполне завидный жених — крепкий да деловой, и чуб льняной был, наверное, буйный, характер смелее теперешнего. Одно время работал на райкомовской машине — «секретаря возил». Да, видно, сказались трудные детские годы, скрутили, иссушили болезни, сам себе не рад бывает. Теперь вот «не пара» своей гладкой супруге! Казалось бы, дело это настолько личное, что остается констатировать жестокость его жены, которую, кстати сказать, никто добрым словом не охарактеризовал, да и только. Но ведь письмо-то в редакцию написала дочь...

Галия не выбежала на лай собаки. Пришлось позвать ее и попросить, чтобы придержала разъяренного пса. А потом в чистой горнице был долгий, трудный разговор, были слезы, была истерика. Пришла с работы мать, села на диван, закинула полные руки за гладко причесанную голову и слушала все это с таким завидным самообладанием, что становилось иной раз жутко. Обе они утверждали, что, когда отец выпьет, он невыносим, что он срамил их последними словами и что они его ненавидят.

— Он сам в петлю идет, — спокойно говорила мать.

— Вот и хорошо сделает, — вторила дочь-отличница, — по крайней мере спокойно в доме будет.

Надо сказать, что в этой трудной беседе я вовсе не пыталась ни оправдать, ни тем более идеализировать отца Гали. «Ну хорошо, — пыталась я достучаться до ее сердца, — отец твой в минуту отчаяния бывает на дне жизни, но он же человек, ведь ты же знаешь «На дне» Горького, вспомни...»

— Это только в книжках пишут! — слышу.

Какое же зло посеяла мать в душе дочери! Не придется ли ей самой пожалеть об этом, когда плоды ее ловкости, алчности, хитрости с треском обрушатся над ее собственной головой? Вот сидит она, невозмутимая, на диване и отлично знает, что в доме ей пока нужен работник: новый сруб доделать, огород убрать, да мало ли что еще. Мотоцикл его она заблаговременно и выгодно продала, а деньги на книжку положила, дом вот жалко, конечно, делить, хороший дом, ну тут уж ничего не поделывать, закон будет на его стороне, придется поделить-ся. Пока и сто тридцать его рублей не лишни в доме...

И вспоминаю его до наивности беспомощный рассказ:

— Отпускные до копеечки забрала, есть не готовит, как же мне быть?

— У вас есть своя сберкнижка? — на всякий случай спросила я тогда.

— Что вы!.. — отмахнулся он.

Вот и останется он гол как сокол, и больной, и беспомощный, и без дочерей, для которых всю жизнь трудился. И еще более страшно другое: с какими взглядами на жизнь выйдут из родного дома его дети? Последний раз его ударила именно Галия, ударила, когда отца держала мать, да так ударила, что кровь залила ему голову и лицо. Отец — бегом, пока были силы, звонить в скорую помощь, а Галия — бегом звонить в милицию. Галия оказалась проворнее. Милицейская машина пришла первой. Как поступили в милиции, мы уже знаем. Можно добавить, что от заявления на жену и дочь отец сам отказался.

Вот и в редакцию Галия успела написать...

И все это в полной уверенности, что она права. Ведь это главная трагедия во всей нелегкой семейной истории. Домашние уроки нравственности оказались сильнее школьных «пятерок».

...Последний раз мелькнули за окном машины лихие львы над баром, где толпились неопрятного вида мужчины, сиротливо проводила нас в путь кривая вывеска «Союзпечать». На словах мы все дружно ратуем за духовное просвещение, а на деле? Интересно, сколько стоят вот эти шикарные львы? И во что обошлась бы приличная вывеска убогого соседнего домишки? Возможно, и с таких деталей начинается нравственное воспитание духовных потребностей, которым на жизненном пути предстоит сталкиваться с расчетом, корыстью?

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

«Ты видел, как стреляют в совесть? Совесть — это белая птица. Почему белая? Не знаю. Нет, это не розовая чайка, и не лебедь, и не аист. Птица-совесть — крылатый обобщенный образ. Белизна ее оперения символична. Птица-совесть почти беззащитна. Легко ранима. Ее можно испачкать, подрезать крылья, убить...»

Будь моя воля, я бы каждый грядущий день начинал с призыва: «Люди, берегите белую птицу!»

Это отрывок из пьесы Николая Мирошниченко «Берегите белую птицу!»

Он нужен, чтобы подвести итог двух предыдущих историй. Именно с него хотелось бы начать последний рассказ — о счастливой рабочей семье, о счастливых детях и родителях.

В хлопотах, в заботах незаметно проходит день.

В школе — пионерский сбор. Мать причесалась празднично, надела любимое голубое платье. В зале — море цветных пилюлек, горнисты перед строем подтянутые, с форсом.

— Дружина, смирно! — командует ее дочь Галя.

Замерли колонны. Вскинули горны. Колотится сердце матери, не унять, а глаза отыскивают меньшого — Толика. Вот он, среди самых маленьких, коротенький, серьезный мужичок. Встретились взглядами две пары больших карих глаз, вспыхнули огоньки радости.

Принимали Толика в пионеры. Мать тогда прибежала в школу после ночной смены, прямо

из мойки, еще и волосы мокрые, сидит около класса, ждет звонка. Подошла директор Нина Ивановна, бывшая ее одноклассница (вместе учились в этой школе в годы войны):

— Пана, ты что здесь?

— Толика в пионеры принимают...

Бегут годы. Вот уже шесть ее ребят вышли из стен родной школы, трое учатся...

Убрано в шкаф выходное платье. На фабрику пришла возбужденная, упрятав пышную прическу сначала под косынку, потом под каску. Мужская роба, литые сапоги и шаг рабочий, твердый. Нелегкое дело флотатора требует собранности. Сменщица — уставшая, грустная, видно, что-то не ладится.

— Что, Зина, крупняк идет? — спрашивает весело, шумно и тут же начинает разговор о том, какой большой пионерский праздник будет на стадионе, что надо подмениться и непременно пойти на этот праздник.

Улыбается Зина:

— Господи, Пана, сколько у тебя энергин!

Коммунисты смены избрали Пану партгруппом. Скорее сердцем, чем разумом, поняла она свою новую обязанность: бороться за справедливость. Обиды женщины обычно высказывают в мойке. Такой шум поднимут иной раз. Стоит разобраться, и выходит часто, что обиженная сама виновата. Прямоты Пана не занимать. Рубит прямо:

— А ты от себя потребуй.

По душе ей труженики, что на себя надеются. Галина Рудольфовна — тихая, скромная, слова лишнего не скажет, а своим трудом из рабочих в инженеры вышла. У каждого ли хватит такого упорства?

Когда на фабрике вывесили объявление — пригласили желающих на курсы флотаторов, записалось сорок два человека, экзамены сдали шесть. Ни одного занятия не пропустила Пана: грамота у нее не очень большая, в войну пришлось доучиться лишь до седьмого класса, а тут чертежи и теоремы. Было это уже немало лет назад. Прибежит домой после работы, поест наскоро, накажет ребятам, что сделать, и бегом на занятия. К тому же работа была не из лучших — «стояла на грохотах», как говорят на обогатительных фабриках. — и пыльно, и шумно.

Сейчас Пана в самом сердце производства — на семнадцатой отметке — одна на всю смену командует машинами. За окном далеко внизу (все-таки семнадцать метров над землей!) — крыши домов, дорога. Вон по дороге гоняет мальчишка на велосипеде. В такой-то ливень! Внимательно смотрит Пана на показания приборов, скользит взглядом по осколку зеркала, пристроившемуся здесь же, и снова — к окну. Катается. И о чем только думают родители? Присматривается. Да ведь это Толик. Не послушался бабушки?..

В хлопотах, в заботах незаметно проходит день...

В кружке по экономике она внимательно слушает плановика Сашу Головину. Говорит Саша о деле, поэтому и вопросов к ней много. Слушает Пана с интересом, у нее — уважение к образованности.

Член фабкома (детский сектор), председатель родительского комитета в школе, она побывала как-то в одной семье. В доме живым не пахнет. Взрослые напились, вповалку лежат. Девочка во дворе веревочной качелью поскрипывает...

Думает Пана: вот как удачно сложилась ее жизнь, что в семье никто не пьет. Не до этого было. Все годы в работе, праздности ни взрослых, ни дети не знали.

Сын Сергей окончил десять классов, пошел на фабрику машинистом экскаватора. Потом стал врачом.

Виктор прошел фабричную школу бульдозеристов, кончил горный техникум. Лариса пришла на фабрику из школы, стала токарем.

Да и как же могло быть иначе, если все ребяташки с малых лет растут вместе с ее родным производством (благодаря предприятию недалеко от дома и от школы), читают стихи, поют, играют, кто на баяне, кто на мандолине на фабричных вечерах, знают, как трудно и плохо было здесь раньше, гордятся каждым кустом, посаженным отцом и матерью вместе с другими рабочими! Все до единого побывали они на семнадцатой отметке у матери, где дух захватывает от высоты.

В хлопотах и заботах незаметно проходит день...

А ночью не спится. Подолгу не может уснуть

Пана, как бы ни нарабаталась днем. Слышит, как с соседнего завода идут со смены... Слышит, как шумят березы за окном...

Как приехали в этот дом, сразу же посадили с мужем березку. Сажали одну, выросли две, ствол к стволу, кудрявые, хорошие. Болит голова, хотя давно уже нет тяжелых кос, сам не велел отрезать, сам и отрезал, когда попросила.

— Ох, Толя, Толя, лихо мне без тебя!

В этой комнате, где лежит она без сна, умирает, не ведая о том, что обречен, ее муж и до последнего дня все беспокоился:

— Как там дела на погрузке?

Все собирался на фабрику.

— Скоро мы поправимся, верно, кукушечка? — подмигивал упругой, как мячик, младшей — Танюшке.

На похороны пришло и приехало столько народу, что все три комнаты смогли принять их за свои печальные столы лишь в три приема. Пришли сюда с шахты, где он прежде был рабочим, а затем, окончив курсы, горным мастером, вспомнили добрый стишок о нем:

Самый лучший из армян
Горный мастер Кармирян.

Приехал друг из Томска. Пришли все, кто был свободен от работы на фабрике. Приехали дальние и близкие родственники и вовсе незнакомые люди.

...Маленькие темные руки в набухших венах, узловатые, широкие пальцы, короткие, сработавшиеся ногти. Рабочие руки бабушки больше говорят о ее жизни, чем слова.

— Мы, керченские армяне, работяги, труженики, — рассказывает бабушка.

На столе — ворох снимков. Вот вышли из мойки ее сын Анатолий, невестка Пана, внуки Сережа и Витя и замерли перед объективом фабричного фотографа плечо к плечу. А вот дети в огороде: кудрявый Сережа Танюшку на руках держит, Витя — Толика.

— Так и росли, друг друга таскали. И все, как один, поесть любили, особенно Витя...

Свадьбы, демонстрации, отдых на берегу реки запечатлели снимки. И всюду — дети, дети, дети. Вся семья сфотографировалась на Мамаевом кургане: ездили к родственникам и ребят с собой брали. А сколько друзей, сколько лю-

дей, ставших родными, в кругу большой семьи!

— Толя всех жалел, всех принимал. Было такое после войны, что двадцать человек в трех комнатах жили. Без хлеба за обед, случалось, садились.

Фотокарточки закрыли стол словно опавшие листья прожитых лет. Вот и бабушка молодая с мужем-усачом, вот и сын ее Толя верхом на деревянном коне.

Война забросила Майрам Арутюновну с малыми ребятами в Сибирь, где стала она Марией Артемовной и где нашел ее, вернувшись с фронта, сын Анатолий. Хотел было фронтовик увезти мать с детьми на родину, да где там: ни одеть, ни обуть нечего, в доме голодно. Смотрят большими глазами мальчуганы Митя и Борис Девоньяны:

— Дядя Толя, мы в детдом уйдем. (Их мать, сестру Майрам, бомбой убило.)

Молчит племянник и тезка Толик Алтынников. (Он тоже остался без родителей.)

— Нет, не бывать этому, — сказал Кармирян.

Он работал до полного изнеможения, за любое дело брался, лишь бы сыта была семья.

В это время и подружился Анатолий в совхозе «Красная Горка» с местной девушкой, сибирячкой Паной. Много лет спустя он признался жене, что, как увидел ее первый раз, сразу решил: женюсь только на ней.

— Где встретимся? — спрашивал Анатолий.

— На свадьбе, — отвечала Пана.

Так оно и вышло.

— У нас, у армян, такое правило: детей своих родственников, оставшихся без отца и матери, считать своими детьми, — рассказывает бабушка.

В молодой семье Анатолия и Паны Кармирян с первого же дня стало три сына, к которым потом прибавилось еще три сына и три дочки.

Выросли старшие, разъехались, женились.

«Дядя! Я так вам благодарен, что выучился, стал человеком!» — написал как-то Анатолий Алтынников.

Митя стал механиком, живет в Ереване. Борис — бригадир на стройке в Волгограде (это к нему ездила вся семья). Матери с отцом еще долго было трудно, и эти, старшие, помогали материально. Каждое письмо или перевод от

них — радостное событие в доме. Усаживают-ся вместе, читают вслух и вспоминают:

— Митяка маленький, в коротких штанишках на одной лямке, мечтает: «Тетя Пана, а сколько надо учиться, чтобы стать царем всего мира?» «Зачем тебе, Митя, быть царем?» «Надо!»

Это он хотел всех обусть, одеть и приказать, чтобы никогда-никогда не было войны.

Письмо от Сергея, когда он служил в армии, читали точно так же, все вместе:

«Здравствуйте, мои дорогие: бабушка Мария Артемовна, мама, Галина, Анатолий и маленькая наша кукушечка Танечка! Очень хочется посмотреть, как вы живете. Я знаю, что семья наша, как и прежде, дружная. У меня все хорошо. Здоровье отличное. Мне нет-нет, да и приснится отец, то здоровый, то совсем больной... Рад, что Анатолий учится нормально. Вот это уже как у настоящего мужчины. А наша малышка уже, наверное, подросла. Ничего, все будет хорошо. Скоро увидимся. Мария Артемовна, как ты, моя дорогая бабушка, живешь? Крепись. У тебя есть помощница, Галина уже взрослая девочка. Через 284 дня я буду дома».

...В партбюро Анжерской обогатительной фабрики входит женщина. Лет сорока или около того. Снимается с партийного учета. Уезжает. Интересно, почему?

— От дома бегу, — говорит, — замучил меня дом.

Десять лет замужем. Двое детей. И огромный дом. Сами строили, тянулись из последних сил, а теперь он эти последние силы забирает.

— Пока вымою все комнаты, до бани доберусь, баня у нас своя, чуть сознание не теряю, так устану, что до постели едва дойду, а уже глубокая ночь, — вздыхает.

По-разному строится семейная жизнь. Немаловажна при этом вечная проблема: вещи для людей или люди для вещей?

Когда у Кармирянов дружно пошли рождаться дети и некуда стало ставить кровати, собрался семейный совет:

— А что если вот эту стенку передвинуть?

Передвинули стенку старого деревянного коммунального дома, какие в Анжеро-Судженске до сих пор называют «михельсоновскими»,

потом пристроили кухню, перенесли на новое место печь, пристроили веранду. И всюду — койки, койки, койки.

У той женщины, что бежит от дома, потухшие глаза. У Паны глаза горят и тогда, когда она рассказывает о перестройке дома, словно о занятой всеобщей игре, где и горе, и веселье пополам, и тогда, когда идет она по унылому для постороннего взгляда пролету флотационных машин, не замечая его однообразия, и, как добрая хозяйка, рассказывает:

— Здесь подбелили. Чисто у нас, правда?

У Паны громкий голос. С непривычки кажется, что она кричит или ругается. Этому есть свои причины: бабушка глуховата, и производство шумновато. Привыкла Пана даже сокровенные мысли высказывать шумно. С этим быстро осваиваешься, и уже кажется, что без этого шумного голоса с хрипотцой, так же как без энергичных порывистых движений, выдающих давнюю спортсменку, не понять Паны.

Девушки послевоенных лет, работавшие вместо мужчин, не отличались изысканством. Тем ошутимее стала тяга к красивому у них позднее. Мать большого семейства Пана Кармирян ни один праздник не встретит без прически, и оденется аккуратно, и губы подкрасит, а брови свои хороши и глаза светятся интересом к жизни.

На фабрике рассказывают, что на вечерах супруги Кармирян не держались друг за друга: танцуют, веселятся со всеми вместе, тут же их дети, а к концу вечера сбились дружной стайкой, потопали к своему «михельсоновскому» дому счастливые.

Много добрых качеств в этой семье, но самым значительным из них, очевидно, можно назвать именно то, что характерно для советской семьи. Здесь естественна общественная активность и родителей, и детей.

Пана с Танюшкой шли по улице. Вдруг кто-то упал — кому-то стало плохо. Пана бросается со всех ног на помощь:

— Танечка, дальше ты сама дойдешь до детского сада.

Случай в школе. Плачет мальчик, когда кружок праздник:

— Мальчик, кто тебя обидел?

Не потому ли хватает у нее энергии на все общественные дела, что в основе их — отзывчивость?

Очевидно, и благодатная атмосфера коллектива Анжерской обогатительной фабрики, где сильная партийная организация, где живут просто, работают от души и отдыхать умеют, повлияла на совершенствование этой семейной черты: здесь мать, отец и старший сын Сергей стали коммунистами, здесь Виктор и Лариса вступили в комсомол, здесь Ларису избрали комсоргом фабрики. Не удивительно после этого, что Галя не только отличница и не только председатель совета дружины в школе, но и председатель совета пионеров города, что из Артека привезла отличную характеристику.

Секрет домашней педагогики в данном случае — личное поведение взрослых: нравственная атмосфера большой семьи определяется их любовью, уважением друг к другу, трудом. Здесь умеют не заметить чьей-то случайной промашки и не портят друг другу жизнь из-за мелочей. Несколько дней прожила я в этой семье. И только радовалась...

Просыпали целую банку соли. Эка беда!

— Это неправда, что к ссоре, — говорит мать, — с чего бы нам ссориться?

Поздний ужин. Поздний потому, что в доме — гость. Малыши уходят спать раньше. Старшая Галя засиделась. Потом и она поднялась. Бабушка только глазами указала на посуду.

— Ой, — протестует Галя.

— Я к вечеру устаю, — ответила бабушка.

И девочка налила горячей воды в таз.

...В хлопотах, заботах незаметно проходят дни.

Как человек трудится и как любит — это действительно, пожалуй, главное.

Виктор Моисеев

В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ

Кузбасс по праву называют индустриальным сердцем Сибири. По плотности населения, размаху промышленного производства и количеству городов Кемеровская область занимает первое место в регионе. Одновременно с этим на обширной карте Западной Сибири она занимает самую малую площадь. Вот почему ее можно назвать и испытательным полигоном, на котором проверяется влияние мощной индустрии на живую природу и окружающую среду.

Нигде в Сибири деятельность человека не оставила такой глубокий след в окружающей природе, как в нашей области. Даже в самых заповедных уголках Кузнецкого Алатау, где рождается большинство наших рек, можно легко увидеть следы деятельности человека. Здесь прошли лесозаготовители, а тут работали геологи, старательские артели по добычке россыпного золота, которым особенно славилась в недалеком прошлом Мартайга. Именно здесь были в свое время найдены самые крупные в Сибири золотые самородки.

1. Давно миновала та пора, когда люди думали, что природа может перенести любой промышленный натиск безболезненно, без видимых потерь и глубоких последствий. Именно этим обстоятельством можно объяснить глубокий интерес кузбассовцев, который проявляют они к проблемам защиты окружающей среды.

Историю не повернуть вспять, как не остановить гигантского размаха строительства промышленных предприятий и городов, которое развернулось в последние годы не только у нас в области, но и на территории всей Сибири. Выход в иную, в поисках гармонии, разумном использовании, сохранении и приумножении природных богатств, которыми издревне славен Кузбасс. В этом отношении кузбассовцам есть чем гордиться. В наших лесах еще не перевелась самая разнообразная таежная живность. Мало того, легко представить, как удивился бы охотник, промышлявший в наших краях, скажем, в начале нынешнего века. Уверен: от обилия сле-

дов лосей, соболей у него голова пошла бы кругом. И не удивительно, ведь к времени установления Советской власти в Сибири практически был полностью истреблен соболь. Чем меньше становилось этого зверька в таежных урманах, тем выше взвинчивались цены на его драгоценный мех. Промысловик знал: стоит добыть двух-трех соболишек, и семья его будет обеспечена всем необходимым на весь год. Ради этого он неделями гонялся за черной молнией, тропил сторожкого и хитрого зверя. Еще, видимо, несколько лет такого бы промысла, и круг замкнулся на последнем соболячке.

Такая же печальная участь поджидала и самого крупного представителя таежных просторов — сохатого. Этого били ради мяса. Пока в тайге было немного народа, все обходилось. Но с ростом населения лосиное стадо резко пошло на убыль.

Но давайте вернемся к нашему охотнику. Пройдясь вдоль любой горной речушки, он

бы смутился, как первоклассник, не выучивший урока. Увидев следы норки и ондатры, охотник не смог бы назвать их. И это понятно: в его время этих ценных пушных зверьков вообще не было в Сибири. Первые поселенцы из далекой Америки появились у нас в тридцатых годах. За этот короткий промежуток времени они обжили многие водоемы.

Еще больше поразили бы нашего охотника следы бобров. Уже к концу XIX века об этих удивительных строителях плотин остались на память лишь реки и озера, носящие одинаковое название — Бобровые. А два года назад мне пришлось увидеть бобровые шкурки, добытые впервые в Кузбассе по особым лицензиям самыми опытными охотниками. Нынче профессионалы доставили на заготовительные пункты госпромхозов еще пять десятков великолепных шкур, способных украсить коллекцию любого международного пушного аукциона.

Нет, не исчезла у нас в Кузбассе древнейшая профессия охотника. И сейчас несколько сот профессионалов и многие охотники-любители ведут промысел ценных пушных зверьков, радуют своими богатыми трофеями модниц. О степени эффективности и развитости таежного промысла можно судить по такому примеру. Несколько лет назад по итогам социалистического соревнования наше областное управление охотничье-промыслового хозяйства опередило такие признанные центры таежного промысла, как Якутия, Эвенкия, Тува и Бурятия. За эту победу коллективу управления было вручено переходящее Красное знамя Главохоты РСФСР.

Достижение это нельзя отнести за счет лишь одной удачи наших охотников. Большая заслуга принадлежит в этом успехе охотоведческой науке, которая во многом сумела найти и предугадать секреты гармонии дикой природы. Она доказала: даже в изреженных пригородных лесах могут жить почти все таежные обитатели, если охотник сумеет соединить в себе два начала — промысловика и рачительного хозяина.

Это совершенно новая формация охотника, которая резко отличается от промышленника в нашем привычном понятии. Уподобиться сеятелю современного профессионала вынудила печальная действительность — крайне резкое со-

кращение таежных обитателей. В тридцатые годы даже в самых отдаленных уголках нашей области, где еще не успел погулять топор лесозаготовителя, катастрофически резко сократилось поголовье соболя. Только после этого он был взят под особую охрану государства. После издания соответствующего закона, добыча соболя рассматривалась как злейшее браконьерство со всеми вытекающими отсюда последствиями.

2. Насколько важно знать точную картину, происходящую в природе, убедительно говорит пример из промысла этого ценного пушного зверька уже в наше время. Наблюдения показывали, что особенно усердствуют в этом деле в Горной Шории. Но охотоведы не предполагали, что промысел может здесь приобрести такой размах. История, сделав петлю во времени, вернулась здесь в исходную точку.

После окончания сезона, как это уже заведено, состоялся учет таежных обитателей. Провели его охотоведы в Горной Шории и пришли к невеселому выводу: на столь огромной территории, где особенно благоприятны условия для размножения соболей, осталось не более двухсот особей. Проще сказать: местные охотники начисто выбили короля нашей сибирской тайги. И случилось это потому, что местные охотники исповедуют философию человека, живущего лишь сегодняшним днем. Тут действуют по принципу: я добыл, а там пропадай все пропадом.

Однако катастрофы не произошло. Охотоведческая наука к тому времени накопила солидный опыт. И чтобы не поставить на грань исчезновения здесь во второй раз соболя, в нынешний зимний сезон местные охотники не получили ни одной лицензии на него. И так будет до тех пор, пока местный соболю не размножится до промысловых масштабов. Таким образом, петля не захлестнулась, и история не повторилась.

Совсем иная картина промысла соболя на территории Кузнецкого, Кемеровского и Тисульского госпромхозов. Здесь взят курс на закрепление за каждым штатным охотником определенного участка. Что это дает?

Несколько лет назад мне довелось побывать в угодьях Михаила Курбатова и Александра Савина из Тисульского госпромхоза. Расположены они в вершине Урюпа, где когда-то был поселок старателей Террасный. Тайга кругом изрезана, порядком повыврублена. Правда, на крутоярах, куда не могли добраться со своей техникой лесорубы, густыми куртинами стоит пихтач, кедровник. Помнится, охотовед Полуторниковского участка Станислав Старцев перед выходом в тайгу напутствовал:

— Гляди внимательно. Чего сам не поймешь — Курбатов с Савиным объяснят.

Побывав на путиках, проложенных охотниками, понял одно: соболей в районе Террасного хватает. Удивило другое: по вечерам оба промысловика были заняты тем, что тщательно высчитывали, сколько можно еще взять зверя.

— Не все ли равно, — удивился я. — Главное, соболя много, бери без оглядки.

Михаил беззлобно подтрунил надо мной:

— Ты бы на своем горбу сюда клетухи с соболями потаскал, тогда бы по-иному рассуждал.

Вот мы и дошли до той поры, когда охотник уподобился сеятелю. Размножение соболей, несмотря на строгий запрет охотиться, шло крайне медленно. Кроме того, водился в наших краях соболь Томского края, который имел самую низкую закупочную цену.

Главный охотовед Кемеровского госпромхоза Владимир Вахрушев, занимаясь изучением этой проблемы, прошагал не одну сотню километров по самым глухим уголкам нашего края. В этих походах он изучал привычки и повадки соболя, места его обитания и размножения.

Составив для себя четкую картину, он предложил для улучшения местной породы завести в область знаменитого баргузинского соболя. Мне довелось видеть этого красавца. Угольно-черный, с серебристым переливом крупного острого волоса, он, откровенно говоря, не шел ни в какое сравнение с рыжеватой соболюшкой местной породы.

Расчет Владимира Вахрушева был простой: баргузинец облагородит местную стацию, даст новую линию в породе. Михаил Курбатов и Александр Савин одними из первых на своих участках выпустили новосела. А потом несколько лет наблюдали за тем, как осваивается бар-

гузинец, заполняет своим потомством пустую таигу. Когда поголовье его достигло промысловых размеров, Курбатов и Савин получили первые лицензии.

Закрепление участков за охотниками устранило обезличку. Теперь профессионалы задолго до открытия сезона уходят в тайгу, охраняют свои участки от браконьеров, благоустраивают их для более продуктивной работы. Брать охотнику становится выгодно лишь столько, чтобы не подорвать маточное поголовье, основное ядро.

Промысел вести необходимо постоянно. В природе уже были печальные примеры, когда неумелая организация промысла пушных зверей оборачивалась резким снижением их поголовья, а то и полным их исчезновением в данном районе. Как совместить эти два понятия — охрану и промысел?

Дело в том, что к осени, когда молодой становится самостоятельным, в угодьях наблюдается некоторая повышенная плотность животных. Если их оставить без вмешательства промысловика, то в свои права вступит закон природы, по которому выживает самый сильный. Естественно, выявление отношений кто есть кто без участия охотника — бессмысленная потеря ценнейшей пушнины. Соболь, да и другие представители отряда кунных начинают кочевать в поисках мест, богатых кормом. Уходят самые слабые, не выдержавшие конкурентной борьбы.

А что происходит, например, с ондатрой, которая в зимнее время не может уйти по снегу к другому озеру. Несобранный промысловиком «урожай» здесь может привести к трагедии. Кстати, несколько лет назад это и произошло в водоемах не только нашей области, но и соседних — Томской, Новосибирской и Красноярского края. Хроническое недопромысливание привело к тому, что на многих озерах превысилась предельно допустимая норма ондатры. В результате во всех водоемах вспыхнула эпизоотия, после которой до сих пор не могут оправиться многие озера области.

3. Отдельной проблемой стоит отношение человека к волку. Известно: серого разбойника всегда недолюбливали. Но бывает также и та-

кое мнение: волк никогда не нападает на человека, в природе является идеальным санитаром, подбирая больных, ослабевших животных.

Была такая слабость и у автора этого материала, когда он на страницах местной печати несколько лет назад брал под защиту волка. Однако каждый раз при встрече с Вахрушевым, стоило завести речь на эту тему, у того на лице появлялась скептическая улыбка. Он говорил мне не раз:

— Ты побольше с охотниками поговори, сам походи за стаей, понаблюдай, тогда многое станет понятным.

Итак, решено: нужно поближе познакомиться с волком.

От Леляжки, что расположена на самой границе Ижморского района, егеря Иван Клименков направил свой снегоход «Буря» так, чтобы спрямить путь через сосновый бор, выйти к первым поселениям бобров на Антибесе. От скорости и мороза слезятся глаза. Но успеваю заметить: вот оставила свои кривульки-следы белка, а здесь попиравал колонок, захватив врасплох ночевавшего в снегу рябчика. Несколько копалух и один матерый петух-глухарь встретились на болотистом кочкарнике, где видны из-под снега рубиновая клюква и брусника цвета спешейся крови. Сейчас птицы живут сами по себе. Но придет март, распушат свои могучие крылья петухи, начнут чертить ими снег, оставляя две параллельные линии. Это значит, что вот-вот настанет пора глухариного тока, когда на укромных полянках, окруженных высокими соснами, поведут свои турниры могучие петухи.

И вдруг наш снегоход остановился, словно ткнулся в невидимую стену. Ровная цепочка следов, проложенных как по нивелиру, шла вдоль высоковольтной трассы. Иван пробежался вдоль нее, неодобрительно закачал головой:

— Надо же, опять волки пожаловали. Матерые, парочкой ходят.

После этих слов и я наконец сумел увидеть разницу между этими следами и теми, что оставляет лисица, отправляясь с места мышкования на лежку. Поражала чистота следа. По нему мы промчались на «Буря» с пятю километрами, лишь в одном месте он раздвоился. Здесь волков привлек запах спящего в снегу

глухаря. Но птице, видимо, повезло, потому что иначе снег бы здесь был утрамбован. И снова следы сошлись коготок в коготок, пока не уткнулись в чащеник, стоящий в болоте.

— Все, дальше за ними бесполезно домигаться: веткой хрустнешь — они за километр услышат, уйдут.

Три дня прогостил я у Клименкова, и по десятку раз на день он сокрушался о том, что пожаловали волки, разрабатывал всяческие хитроумные варианты, чтобы изловить хищников.

В последние два-три года волки вновь объявились в нашей области. Да не отдельными особями, а крупными стаями. В прошлом году, например, Клименков в заказнике прочитал по следам жестоку драму, которая в природе в принципе закономерна.

Шесть волков шли вот так же цепочкой след в след навстречу ветру. Вдруг воздух принес запах добычи. В теплом густом сосняке лежал крупный сохатый. Он слишком поздно почувал опасность. Стая хищников атаковала дружно. Вот здесь-то и сумел Клименков подсчитать, что в стае было шесть волков. Они почти одновременно вцепились в свою жертву, которая от страха и дикой боли мчалась сломя голову. Примерно на расстоянии двухсот—трехсот метров продолжалась эта борьба. И только в одном месте с лоса сорвался волк. Он на крупных махах пролетел с десятку метров рядом с лосем и снова бросился на жертву.

Конечно, такая добыча, как матерый сохатый, для волка, надо признать, бывает крайне редкой. Лось легко уходит от погони, при нужде может постоять за себя. Мне приходилось видеть осины толщиной в пятнадцать—двадцать сантиметров, сбитые лосем за один удар. Охотники рассказывали, что встречали в тайге погибших матерых медведей, проигравших в борьбе сохатому. У них были проломленными грудные клетки, перебит позвоночник. Ясно, что волки далеко не всегда отваживаются вступать в поединок с таким соперником.

Зато стельные коровы, их маленькие телята по весне — лакомая добыча серых разбойников. Легко можно представить, какой урон нанесет охотничьему хозяйству одна большая стая волков, если наблюдения в природе показали: в среднем за год один хищник уничтожа-

ет 45—60 косуль, оленей или лосей. Уже только по одной этой причине есть необходимость самым жестоким образом контролировать поголовье волка в наших лесах.

Есть ли возможность организовать такой контроль? Вопрос этот не праздный. Дело в том, что из-за нашего неоправданного гуманизма к серому разбойнику, волчатники в последние годы приобрели недобрую славу. Многие по этой причине предпочли забросить этот нелегкий промысел. Да и заготовительные организации не оказали должной материальной поддержки волчатникам. Являясь хозрасчетными предприятиями, пушно-меховые фабрики не заинтересованы платить охотнику, добывшему волка, хорошую премию. Заготовительная цена шкуры практически ничем не отличается от собачьей.

И еще одна немаловажная деталь. Многие волчьи шкуры, сданные нашими охотниками заготовительными организациями области, Новосибирская пушно-меховая фабрика признала... собачьими. Возможно это так, но ведь собаки, войдя в контакт с волками, становятся такими же опасными хищниками. Более того, общение с человеком наложило свой отпечаток на собаку. Она не боится огня, не признает красных флажков, более уверенно ориентируется в поселке. Если такая собака станет вожакom в волчьей стае, изловить ее будет еще сложнее.

Такое отношение к решению проблемы о месте волка в природе дало свои результаты. Волков стало много, зато чтобы перечислить опытных охотников на них, вполне достаточно пальцев двух рук.

О волке и сейчас ходит немало легенд. Почти в каждом селе можно услышать рассказ о том, что в соседней деревне волки убили учительницу. Странно, но почему-то эта сказка повторяется только с учителями, хотя они по роду своей деятельности меньше других бывают в лесу.

Но это не значит, что волки абсолютно безопасны. Нынешней осенью мне довелось увидеть в Титове Промышленновского района двух человек, которых сильно покусала взбесившаяся волчица. Она среди бела дня влетела в село и еще немало бед могла бы натворить, не оказись на ее пути с ружьем егерь Юрий Мазавков. Людей врачи спасли. А вот корова и ло-

шадь, которых волчица успела покусать, пали.

Вот и на этот раз визит волков в заказник не обошелся без разбоя. Они зарезали сохатенка-первогодка. Распутав хитроумный клубок следов, Иван Клименков понял, что это действовали те два волка, следы которых мы с ним тогда обнаружили. Он насторожил на подходах к сохатому несколько мощных капканов, поставил петли из прочного канатика. Клименков уверен: рано или поздно хищники не уйдут от расплаты...

4. Плановый промысел подразумевает полное исключение браконьерства. Однако именно этот вид преступления, сравнимый с хищением государственной собственности, почему-то для многих кажется ребячей забавой. В этой связи особую тревогу вызывает тот факт, что именно с таким настроением приступают к разбору браконьерских дел в некоторых административных комиссиях городских и районных исполнительных комитетов Советов народных депутатов, в народных и товарищеских судах.

Давайте поговорим начистоту. Каждый, кто болеет душой за судьбу природы, может называть с десяток случаев грубейшего браконьерства, оставшихся вне поля деятельности всех контролирующих органов. Бьют по осени изпод фар зайца, стреляют в запретные сроки хлопунцов — маленьких утят, не поднявших еще на крыло, гоняют по березнякам за тетеревиными выводками.

Это еще лишь цветочки. Матерый браконьер ради наживы готов на все. Что ему какие-то запреты и законы, когда он живет по своему, рожденному в мещанском чреве, закону, по которому считается: тайга не обеднеет и не государство зверя растило. И бьет без промаха по лосю, косуле, маралу. Захвати такого на черном деле, — может запросто и на человека ружье поднять. Изворотливость браконьера такова, что он порой задолго до начала сезона успевает начисто ограбить охотничьи угодья. Где уж тут до гармонии, каких-то хозяйских отношений к природе.

Мне вспоминается два эпизода, которые с особой наглядностью иллюстрируют, насколько безбоязно, в открытую действуют браконьеры.

Каждый год в марте, после окончания промыслового сезона, начинается большой таежный учет всей живности. Промысловики, егеря, охотоведы отправляются в тайгу, чтобы выяснить полную картину, какими запасами будут располагать на следующий сезон оугодья. С этой целью широко применяется авиация.

С борта «Аннушки», идущей почти на бреющем полете, опытный глаз охотоведа успеваеа рассмотреть не только лосей, косуль, маралов и северных оленей, из-за которых, собственно, и организован такой рейс, но и строчки следов куньих, глухариньх наброды и даже вылазы выдры из речных полыней. Мы летели уже несколько часов подряд, и калейдоскоп всего увиденного замкнулся в какую-то непрерывную цепь, где соединительными звеньями были постоянные вскрики то одного, то другого участника рейса: «Вон лось, и вот там парочка. А там — табунок стоит, пять штук сразу...»

С лосями было покончено. Результаты наблюдений легли в бортовые журналы, которые затем будут обработаны. Теперь перед глазами поплыли крутые горы. Это наш самолет стал выписывать челночные ходы над крутобокими берегами Кии в ее верхнем течении, которые издревне избраны для зимних стоянок маралами. Удивительный это зверь. На протяжении, может быть, тысячелетий одно поколение маралов, сменяя другое, приходит сюда на зимовку, спасаясь от глубоких снегов. Ценность его — в знаменитых пантах, молодых рогах, напитанных живительной чудодейственной силой, о которой хорошо знали врачеватели Тибета. Раньше рогачей стреляли ради этих пантов и заметно подорвали маралье стадо. Сейчас оно, благодаря заботе охотоведов, постепенно начинает восстанавливать свою былую численность.

Что касается регулирования популяции местного марала, то охотоведы располагают на сегодняшний день двумя предложениями. По одному из них необходимо восстановить полностью стадо марала, а затем начать планомерный сбор «урожая» пантов. Первые опыа провёл Тисульский госпромхоз, но они не увенчались успехом. Слишком сложным оказалось это дело, нет специалистов по консервации пантов. Но дело это временное: будут специалисты, наладится плановый промысел.

По другому предложению предполагается строительство мараловодческой фермы, когда дикие олени станут практически полудомашними животными. Чашу весов не склонила пока ни одна из теорий. Зато браконьеры, признав о том, что на стоянках вновь появились маралы, проторили сюда свои воровские тропки.

Наш самолет вынырнул из-за крутого поворота Кии на устье Кожуха, и кто-то из наблюдателей крикнул:

— Глядите, браконьер!

На голубом льду реки свежеевал марала широкоплечий мужчина. Рядом с ним лайка уплетала дымящиеся парком потроха.

Что мы могли сделать в тот момент? Сесть на лед? Командир экипажа отрицательно покачал головой — не имеет права.

Заложили вираж. Думали, хоть испугается. Дали в окно сигнальную ракету. Мужик на минуту оторвался от своего дела, приветливо помахал нам рукой и вновь склонился над маралом. До ближайшего населенного пункта не менее тридцати километров, и перехватить браконьера на этом пути с поличным никакой возможности не было.

Уже одного этого факта было достаточно, чтобы порядком испортить настроение всей нашей бригаде. Так нет же, в Антибесском заказнике нас поджидала еще одна браконьерская насмешка. На этот раз мы увидели, как какой-то мужчина тянул из проруби увесистую жердину, к которой был привязан мощный капкан. В капкане бился, извиваясь, матерый бобр. И еще я увидел, как крупные желваки заходили на скуластом обветренном лице Вахрушева. Переживания его мне были понятны. Одновременно с соболями Владимир Вахрушев сделал попытку вернуть Бобровым речкам и озерам их исконных обитателей. Сам ездил в Белоруссию за первыми новоселами, завозил их в самые потаенные места.

Одним из таких заказников было решено сделать Антибес. Река эта идет сквозь сосновый бор, сплошь поросшая ивняком, зарослями осинника, излюбленным кормом бобров. Вахрушев рассчитывал «убить сразу двух зайцев», объявив территорию огромного бора заказником. Этим самым он рассчитывал взять под

охрану не только бобров, но и лосей, которые приходят сюда на зимовку из коренной тайги Кузнецкого Алатау. Здесь сохатыс проводят зиму, дожидаясь появления на свет потомства. А когда лосята чуть окрепнут, снова уходят в горы.

И вот первые результаты огромного труда, который вложил Вахрушев в обустройство Антибесского заказника, снимал не промысловик, ради которого и старался охотовед, а лютый враг природы — браконьер. Я понимал бушевавшие в груди у Вахрушева страсти. Но что мы могли сделать?

Что вообще могут сделать охотоведы без государственной помощи общественности, сурового осуждения браконьеров, а также тех, кто пользуется их услугами. А таких, кстати, немало. Предлагаю любому, кто заинтересуется этой проблемой, внимательно посмотреть на улице на прохожих. Не буду давать стопроцентной гарантии, но, видимо, окажусь недалеко от истины, если скажу: на каждой десятой, от силы двадцатой моднице будет красоваться соболиная шапка или воротник. Теперь вспомните: часто ли мы видим в продаже соболей? Нет, конечно! Не случайно его называют мягким золотом. И промысловик, сдающий на приемный пункт пушнину, самым прямым образом пополняет государственную казну чистейшим золотом. Легко представить, какие богатства не попадают к его истинному хозяину, каким является государство, а оседают по браконьерским заначкам.

Последним у нас был рейс на Церковную гору. Удивительной красоты здесь природа. Высокие гольцы сверкают под лучами мартовского солнца ослепительной белизной снегов.

Церковная — главная вершина в этом районе. Она служит водоразделом, на ее склонах рождаются стремительные Кия и Верхняя Терсь. А еще это — центральная база Кемеровского госпромхоза. Летом на склонах горы бригада корневищников заготавливает левзею сафлоровидную, лечебные свойства которой во многом схожи со знаменитым женьшенем.

Об удивительных свойствах «маральего корня», как называют левзею в наших краях, узнали случайно. Маралы и лоси, олени и косули настойчиво копытили на склонах субальпийских

лугов мочажистые, нитевидные корни левзей, жадно поедая ее стебли. Охотники заметили: отошавшие за зиму животные здесь быстро набирали вес, шерсть на их боках начинала шелковисто блестять. А это — первый признак того, что зверь вошел в полную силу, здоров.

Кто первым решился заварить чай отмытыми в холодной воде корешками левзеи, сказать сейчас трудно. Но скорей всего это был охотник. Он заметил: стоило попить такого чайку, как неизвестно откуда приходили свежие силы и бодрость. Человек мог снова легко шагать по тайге.

Не сразу нашла путь в отечественную фармакопею левзея. Зато сейчас ее только подавая фармацевтам. Берут с удовольствием.

И не только медики. Уже проведены первые эксперименты по подкормке левзеей крупного рогатого скота на совхозных фермах. Опыт оказался удачным. Коровы заметно прибавили надоев молока, а молодняк на откорме быстрее набирал вес. Летом промысловики впервые собрали семена этого чудесного растения, чтобы могли труженики сельского хозяйства обогатить им посевы многолетних трав.

Глубокой осенью Вахрушев на самолете забрасывает все необходимое для охотников своего госпромхоза, которые проводят здесь весь промысловый сезон. Возвращаются домой профессионалы с хорошей добычей. Гордость Церковной — соболь.

Но на этот раз мы летим совсем с другой целью. В районном поселке Крапивинском наш самолет сделал посадку на несколько минут, чтобы принять на борт охотоведов Юрия Филиппова, Виктора Михеля и старшего следователя местного отделения милиции Владимира Измestyева. Экипированы они по-таежному: за спиной плотные рюкзаки с продуктами, в руках лыжи, подбитые камусом — шкуркой сохатого. У каждого по ружью, а пояс оттягивает пистолет.

Необычное задание предстоит выполнить группе. Два дня назад, облетая Церковную, Вахрушев приметил в глухих распадах гор Соболиной и гольца Зеленого две группы браконьеров. В каждой из них было по два-три человека. Когда самолет вынырнул из-за перевала, браконьеры врассыпную бросились под густые кроны пихтача.

Это были, видать, битые, опытные браконьеры, хорошо изучившие тайгу. Они знали точно: в эту пору, когда закончена охота, на базе не должно быть никого. Она будет пустовать до лета. Поэтому и использовали избушки промысловиков, подчищая соболя под гребенку. Учили они и тот факт, что когда установится чарым — мощная ледяная корка-наст, бегать за зверем будет легко. А тут еще у соболя начнется гон, и он потеряет свою осторожность.

Чтобы не допустить уничтожения маточного поголовья соболей, решено было высадить на Церковную десант. Командир экипажа Анатолий Сидячих сделал несколько кругов, прежде чем направить машину на посадку. Вот лыжи коснулись поляны, за самолетом потянулся снежный шлейф. Короткая остановка, крепкие рукопожатия, и самолет снова взмывает в воздух. Делаем круг над таежным аэродромом. На сверкающем белизной снегу стоят три черные фигурки наших товарищей. Они машут нам руками. В ответ командир экипажа перекачивает руль, и самолет качает своими широкими крыльями. Тут же машина ныряет за перевал.

— Браконьерам и в голову не придет мысль о том, что мы можем выбросить десант, — кричит мне в ухо Вахрушев, преодолевая грохот мотора. — Поймают их наши парни непременно...

5. Время от времени в печати публикуются материалы о том, как строго наказаны зарвавшиеся браконьеры. Но не будем обольщаться. Большинство из них выходит сухими из подобных переделок. И потому не стоит удивляться тому, что на рынках нашей области можно купить любой мех.

Однажды мы с приятелем у одного такого доморощенного скорняка увидели шиншилу. Редчайший зверек, завезенный из американских Кордильер в нашу страну на Памир и Тянь-Шань. В специальной литературе писалось о том, какие большие деньги пришлось заплатить за этого зверька. И вот он уже оказался жертвой браконьера.

Можно ли изменить соотношение сил, закрыть тайгу на замок для людей нечестных на руку? Опыт восстановления поголовья лосей, охрана их государством убедительно говорят:

упорядочить таежный промысел в целом можно. Что спасло от гибели лося? Жесткий, но очень справедливый закон, высокий денежный штраф, который платил за сохатого каждый нарушитель. Сейчас к этим мерам добавилась еще одна. За особо злостное браконьерство виновные привлекаются к уголовной ответственности.

Кто следит за ходом этой борьбы, хорошо помнит, какой отклик вызвали судебные процессы против браконьеров в Осинниках, Юрге, Яшкино. В каждом случае виновные понесли справедливое наказание, лишившись свободы на различные сроки. Приговоры народных судов вызвали широкое одобрение людей, принимающих близко к сердцу проблему охраны природы, рационального использования ее богатств.

Видимо, этот опыт защиты лося от посягательств браконьеров можно было бы в полной мере использовать и при охране вообще всей таежной живности. Правда, и сейчас областное управление охотничье-промыслового хозяйства располагает особым ценником штрафов, предусмотренных за незаконные действия нарушителей. Однако очевидно: меры эти малоэффективны, учитывая тот факт, что браконьер, насколько не смущаясь, готов заплатить штраф, если его поймают с поличным и докажут виновность. Пока тянется вся эта канитель, ловкий браконьер успевает за это время сбегать еще несколько раз в тайгу и с лихвой окупить штраф, которым его в конечном итоге накажут.

Приятно отметить, что в последние годы резко возросла культура в освоении природных богатств у охотников-любителей. В нашей области их свыше 30 тысяч. Анализ браконьерской статистики показывает: среди членов общества мало нарушителей. Многие из них активно участвуют в рейдах по охране природы, помогают егерям в проведении биотехнических мероприятий. Это значит, что почти каждый член общества летом занят устройством солонцов, заготовкой сена и веточного корма для копытных, строительством искусственных гнездовий. Однако только этими мероприятиями былого богатства угодий, принадлежащих областному обществу охотников и рыболовов, уже не восстановить. Все они, в отличие от территории госпромхозов, расположены в самой осво-

енной и обжитой части области. В основном это сельскохозяйственные угодья.

Пока совхозы и колхозы не располагали химическими средствами для борьбы с сорняками, различными болезнями зерновых и овощных культур, живой мир вокруг полей был весьма обильным. Привольно жилось представителям семейства куриных, куликовым. Но вот пришли гербициды и пестициды. Это сразу резко сказалось на всем живом.

Косач не знает о том, что зерно для защиты от грибковых заболеваний протравлено специальными химическими веществами. Наглотавшись такого зерна, исчезли из наших маленьких березовых околков буквально тысячные стада этих красивых птиц. А что стало с перепелкой? Опыление с воздуха хлебных полей привело ее к массовой гибели. Стали улучшать луга методом подкормки минеральными удобрениями — сделали глухими и эти места. Сейчас можно проехать десяток-другой километров по полям и лугам и нигде не услышишь привычного крика: пить-пилить.

А весенние палы! Стена огня идет со скоростью курьерского поезда, уничтожая на своем пути все живое. Гибнут взрослые птицы, многочисленные кладки яиц. Тем, кому удалось спастись, вынуждены покидать родные места, искать более благоприятные условия. А где они могут быть, коли уже миновали природой отмеренные сроки яйцекладки. И если даже птица отложит в новом гнезде яйца, птенцы ее останутся в развитии, будут обречены на гибель. Так легкомыслие одного человека может нанести непоправимый урон природе.

Плохо и то, что общество охотников и рыболовов не является полноправным хозяином своих угодий. Приведу такой пример. Вокруг Титово Промышленновского района раскинулись отличные березовые и сосновые леса. В пойме Ини есть озеро, крепкие болотистые участки, где любит гнездиться утка.

Егеря здесь строги. Браконьеры предпочитают обходить это охотхозяйство стороной. И как результат — резко увеличилось поголовье лосей. Нынешней зимой мне довелось увидеть здесь несколько табунков косуль, которые стали для нашей области большой редкостью. Живет по глухим лесам барсук, а на открытых ме-

стах — сурок. Оба зверя взяты под охрану законом, и охота в Кузбассе на них категорически запрещена. Однако нашлись любители на легкую поживу из местного отделения треста Мегиоводстрой. Пригнали к сурчиным норам экскаватор. Благо, егеря не дремали: остались бы от колонии этих зверей лишь безобразные ямы.

Словом, хозяйство набирает силу. Чтобы дела еще круче шли в гору, решили в областном совете общества охотников построить в Титово хороший пруд. Думали: будет где порыбачить любителю, загнездиться утке, расквартироваться ондатре. Место приглядели подходящее — пустой лог, не имеющий никакой хозяйственной ценности, заросший чапыжником, чахлым черемушником и тальником. Но областное управление лесного хозяйства, в чьем ведении находится территория лога, наотрез отказалось дать разрешение на строительство плотины. У двух нянек дитя остается без присмотра. Всем ясно: областное общество охотников и рыболовов затеяло доброе дело. Руководству областного управления лесного хозяйства куда было бы разумней пойти навстречу охотникам, чем возводить ведомственный забор на пути улучшения природного ландшафта в Титовском приписном хозяйстве.

Проблема строительства прудов, видимо, давно назрела в нашей области. Речь идет не о капитальных, мощных гидротехнических сооружениях, которые требуют немалых затрат. Для строительства простейших прудов достаточно поработать в облюбованной логовине бульдозеру несколько часов.

В последнее время острым стал вопрос о сохранении водных ресурсов. Пусть не обольщется тот, кто увидит гидрологическую карту Кузбасса сплошь покрытую густой сеткой рек и речушек. Большинство из них живут лишь короткий весенний период, пока гуляет полая вода. Коренной воде не позволяет задержаться изменявшаяся природная обстановка. Даже в тайге многие роднички пересохли, не говоря уже об открытых степных пространствах. Кстати, в некоторых районах европейской части нашей страны уже приступили к восстановлению бывших мельничных прудов на маленьких речушках.

Мне хочется вспомнить еще один эпизод. Ле-

нинск-Кузнецкий откормсовхоз организован несколько лет назад. Одновременно с созданием хозяйства здесь в одном из глубоких логов сделали простейшую земляную плотину. Мне этот пруд запомнился: великолепной стеной стоит камыш. В дальнем углу пересвистываются хлопцы кряковой утки, а совсем рядом деловито чистит мордашку ондатра. Просто удивительно, как быстро освоили водоем, построенный в открытой степи, дикие птицы и животные.

Природа очень отзывчива и чутка на любой наш шаг. Ее с полным правом можно сравнить

с большим симфоническим оркестром, где все инструменты — главные. И чтобы звучал этот оркестр созвучно и гармонично, нам еще предстоит приложить немало сил. На легкую победу никто не рассчитывает. Впереди упорная борьба за все, что нам досталось в наследство, за приумножение этих богатств для грядущих поколений. Именно эту цель поставила перед каждым из нас новая Конституция, в которой говорится, что сохранение природы — дело государственной важности. Помнить об этом должен каждый.

Анатолий Козлов

НА ЗОРЬКЕ

Накалялось на востоке зарево.
Этот час мне радостью знаком.
Я, как вплавь, по заревому мареву
Пробирался с грузным рюкзакom.

Разливались запахи медовые,
За рекой стеной вставал урман.
Будто одеялами пуховыми
Озеро окутывал туман...

Мне сигналият поплавки белесые.
С детства в эту азбуку влюблен.
Голубыми проводами-лесами
С летним миром я соединен.

Все вокруг как-будто улыбается,
Все со мною хочет говорить...
Как тебя, моя земля-красавица,
Для моих потомков сохранить?!

Е. Цейтлин

(Заметки о последней книге Александра Волошина)

ДОСТОИНСТВО ТАЛАНТА

По-разному складываются судьбы писателей, к которым признание и слава приходят рано — по существу сразу после их литературного дебюта.

Именно так в самом начале 50-х годов вошел в советскую прозу Александр Волошин. Его роман «Земля Кузнецкая» был удостоен Государственной премии СССР, за короткий срок много раз переиздан, переведен на иностранные языки.

Между тем роман этот писал бывший шахтер-забойщик, комсомольский работник, журналист, солдат, совсем недавно занявшийся профессиональной литературной работой. Ему еще предстояла долгая, совсем не простая «жизнь в искусстве»...

Думая о дальнейшем творческом пути прозаика, его друг, известный поэт Александр Смердов, пишет в своем предисловии к новой книге А. Волошина: иногда за «совсем непредвиденной и тем более головокружительной для молодого автора крупной удачей» приходит «очень нелегкая и затяжная творческая пауза — осознание происшедшего и возникших в связи с ним новых, значительно возросших требований к себе, совершенствования своего мастерства, поисков и накопления жизненного материала для нового произведения».

Наверное, все это было и у Александра Волошина. Было жадное внимание к новым темам, проблемам, вопросам жизни; мучительная шлифовка своего писательского инструментария; тревожное стремление подняться в своих новых книгах не только до уровня первой, самой известной, но и выше. Думается, только настоящий талант может пройти подобное жизненное и творческое испытание. А. Волошин прошел это испытание с достоинством и серьезностью писателя, верящего в свое призвание, в то, что и для маститых и для начинающих существует лишь один путь в искусстве — вечный поиск.

Да, А. Волошин смело пробовал свой талант

в разных жанрах. Написал еще два романа, три пьесы, киносценарий, несколько повестей, немало рассказов и очерков... Безусловно прав А. Смердов: Волошин не стал «автором одной книги». Среди веских подтверждений тому — сборник его повестей, вышедший в Кемерове («Время быть», 1976).

В книге три повести, написанные в разное время и о разном: «Пойду, командир...», «Пора далекая», «Зеленые Дворики». Первые два произведения уже были знакомы нам ранее. Но сколь полезно перечитать их сегодня! С очевидностью видишь движение автора: то, как крепло, очищалось от вторичного его дарование. Чувствуешь ход раздумий прозаика о жизни, человеке, поэтике искусства последней трети XX века.

Художественно яркий результат этого пути — последняя повесть А. Волошина «Зеленые Дворики». Она наверняка писалась трудно и вместе с тем счастливо. Перед нами проза мастера, не растерявшего юношескую удивленность и свежесть в восприятии мира, но помножившего эту удивленность на мудрый, подчас горький опыт жизни. Проза, интересно отражавшая искания всей нашей литературы 70-х годов.

О чем она, эта повесть?

Можно ответить по-разному. Но одинаково верно.

Это повесть о Времени, точнее — о связи времени (если вспомнить тот емкий смысл, что изначально вкладывается в привычное, порой всеу произносимое нами словосочетание). Это запечатленная память автора об ушедших годах, ушедших людях, своей непростой и светлой юности.

Это повесть о минувшей войне. Ее страшное, кровавое лицо дано в повести бесстрашно, емко и мужественно.

Это повесть об одной человеческой судьбе. И о судьбе целого поколения. Таковы сила и осо-

бенность истинного искусства: оно типизирует, видя за единичным общее.

Вот почему повесть А. Волошина напоминает негромкую, но скорбную песнь. У этой строгой песни немного необычный зачин. Первая глава «Зеленых Двориков» воспринимается и как пролог, и как «повесть в повести». Это сжатый конспект большой книги. Наверное, ее не раз хотел написать А. Волошин — хотел рассказать о далеких тридцатых. События, лица, ритмы тех лет воспроизведены автором столь точно и «протокольно», что порой страницы повести кажутся кадрами старого документального фильма. Здесь есть быт — быт маленького шахтерского городка, двухэтажного деревянного домика, где люди обитают «с незапамятных времен», просто, без тайн, одной семьей. Здесь есть герой — Димка Чугунов; начало его биографии дано тоже конспективно: «...жил в полный мальчишеский разворот, учился не из последних, аппетит всегда имел отобилизованный, интересовался по силе возможности техникой, мастерил детекторные приемники, читал по ночам исторические книжки про путешествия».

Мы хорошо чувствуем немного ироничный, усмешливый, немного грустный взгляд автора, всматривающегося в своего героя. Вот уже у Димки позади горный техникум, вот он уже младший маркшейдер на шахте, а потом корреспондент городской газеты... Ах, как, оказывается, все не легко в этой жизни: начальник шахты преследует молодого рабкора за критику, редактор газеты долго сомневается, стоит ли покупать для своего «творческого коллектива» такое архисовременное средство передвижения, как мотоцикл». Ах, как все легко решается в этой жизни: начальника шахты поправили, мотоцикл приобрели... И сколько романтических надежд дарит жизнь герою! Он гордо пролетает на мотоцикле по пыльным улочкам городка под взглядами «многочисленных юных обитательниц». В кармане у него лежит красная коленкоровая книжечка — удостоверение газеты, «разящее наповал», распаивающее любые двери, напоминающее о твоем высоком жизненном предназначении. Димка торопится к девушке, думы о которой помогают ему писать лирические очерки, посвященные шахтерам, и вместе с которой он впервые открывает для себя вечность неба, земли и любви...

Такова поэтика первой главы повести А. Волошина. Она написана совсем в иной тональности, чем другие главы. Она кажется, на первый взгляд, совершенно самостоятельным произведением. Мы встречаем здесь героев, которых уже не встретим в дальнейшем повествовании, и коллизии, которые оборвутся, не будут продолжены... Но в этой стилистической разногласии, в этой резкой прерванности сюжетных линий проявляется не эклетика, но оригинальность замысла, сказывается твердая рука ма-

стера, логика его мысли, охватывающей, исследующей ушедшие годы. Вся первая глава написана А. Волошиным при свете давно известной, но каждый раз заново открываемой нами мысли: человек живет хлопотами, заботами, спорами бегущих дней и лишь потом, много лет спустя, понимает: это и было счастье.

А. Волошин резко сталкивает первую главу повести с другими главами, ставит рядом жизнь до войны и жизнь на войне. И читатель видит трагический рубеж во времени, трагический духовный опыт поколения автора, очевиднее ставится почва подвига, глубина испытания и боли, непоправимость утрат.

Иронические пассажи и лирические описания первой главы нужны прозаику во многом для того, чтобы сдержанно, жестко сказать в начале главы второй: «Уже неделя, как они все идут, идут — и в день, и в ночь, то чуть на север, то немного на юг или прямо навстречу солнцу...» Эти слова — как глубокий выдох после долгого солдатского марша.

Думая о повести А. Волошина, часто вспоминаешь многие страницы современной военной прозы — книги К. Симонова, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б. Васильева. Дело, разумеется, не во внешней похожести ситуаций и положений (как всякое произведение, «прокаленное» огнем таланта, повесть А. Волошина — явление по-настоящему самобытное). Дело в общих принципах изображения войны, к которым пришла сегодня наша проза в лучших своих образцах.

А. Волошин берет для художественного исследования один из самых тяжелых отрезков Великой Отечественной войны — первые ее месяцы. Берет лишь один эпизод...

Их осталось семнадцать после последнего «нечаянного» боя. Фашистский десант застал «сводную» роту при переправе через маленькую заболоченную речушку. Одни были уже на берегу, другие — на песчаном острове посреди реки, третьи — еще в воде... Их осталось потом семнадцать — чудом спасшихся, «придавленных» памятью о товарищах: одни утонули, захлебнувшись мутной зеленой водой, другие упали от шальной пули... Они, третьи, уже неделю шли на восток по «мутной, нетрикайной дороге», шли «как в пустыне — ни своих, ни врагов».

Несколько очень сложных, связанных между собой, психологических ситуаций находятся в центре внимания автора.

Во-первых, А. Волошин подробно проследит трудно уловимый, но очень важный процесс, когда измученные, порой отчаявшиеся люди снова превращаются в коллектив, в соединение бойцов. Во-вторых, автор рассматривает другой, не менее сокровенный процесс формирования молодого, инициативного командира.

Перед нами глубокий, далекий от каких-либо упрощений психологический анализ. Вначале

Дмитрий Чугунов принимает командование как старший по званию. Потом, вскоре, он действительно становится центром и руководителем этой группы. Вчерашний незадачливый, немного наивный паренек... Он обретает зрелость на дорогах войны. Говоря об этом стремительном взрослении, А. Волошин не обходит те моменты жизни человека на войне, которые самому человеку не хочется вспоминать, но которые неизбежно возвращаются к нему в скорбных, мучительных снах. Душа героя узнает многое — чего не узнала бы она за долгие годы мирной жизни. И непереносимый стыд, когда — бессильный — оставляешь своих мертвых друзей врагу посреди одинокого, безымянного острова. И страшную диалектику войны, которую при самом лучшем воображении никогда не представляешь в довоенных «героических мечтаниях о битвах с мировой буржуазией»: один человек должен, обязан стрелять в другого человека, потому что «надо убить... тех, кто убивать пришел, без этого сама земля изопреет от крови, от слез».

Но и на войне, открывает для себя герой повести, человек не может запретить себе человеческое — сострадание к чужому горю, любовь. За несколько суток до смерти в Дмитрие Чугунове проснется чувство, о котором он, кажется, вообще забыл в те несколько месяцев 1941-го. И это чувство согреет его душу в последние часы жизни...

И еще об одной по-настоящему сложной психологической ситуации не раз задумается читатель. Ситуации напряженного нравственного, этического выбора. Вроде бы она, эта ситуация, возникала случайно, когда дорога привела солдат к затерянному среди болот колхозу с тихим названием — «Зеленые Дворики». Но эта ситуация не могла не возникнуть, потому что речь идет о неизбежном. Боль, отчаяние, любовь человека к родной земле неотвратимо переплывались в решимость, отвагу, ненависть.

В чем конкретное содержание возникшей ситуации? Вот-вот в «Зеленые Дворики» придут фашисты, и колхозники скрываются в лесу, отрезанном от деревни болотами. Вместе с ними могут уйти и солдаты — стать партизанами. Так подсказывает им здравый смысл. Это один из возможных, реальных, но не состоявшихся вариантов их судьбы.

Герои повести выбирают другой — трагический — вариант. Они поступают, на первый взгляд, безрассудно и — очень логично по сути. Они решают вступить в немедленный бой с врагом. Хотя идут на верную смерть. Хотя исход боя, в сущности, ничего не изменит.

Кажется, здесь есть противоречие, но только на первый взгляд. Психологическая мотивировка, которую предлагает автор для объяснения решения своих героев, убедительна в мельчайших деталях. Мы видим: персонажи пове-

сти не могли поступить иначе. Уже «где-то в глубине, в самой крови» вызрело: «больше ни одного дня, ни одной сиротской ночи не стерпят, они не могут больше, как осенний лист по дорогам, а тут такой завидный, такой странный случай. Есть же у них своя воля, свой характер...»

Итак, люди в повести А. Волошина выбирают смерть, потому что хотят остаться людьми. Солдаты выбирают смертный бой, потому что должны остаться солдатами. Здесь нет парадокса, это точно подмеченная прозаиком реальность жизни человеческой души. До конца, до резкой отстраненной мысли — «убило меня» — герои повести будут помнить тяжелые взгляды стариков и детей у «сиротски молчаливых изб» в полупустых деревнях; долгий, нечеловеческий крик женщины, у которой бомбой разорвало ребенка; «чужой говор посреди русской степи»... У них не было приказа — куда идти дальше. А идти дальше только ради того, чтобы спасти свои жизни, они уже не могли. Их командир Дмитрий Чугунов безошибочно прочитал решение «на усталых, замкнутых лицах, в глазах, таких знакомых, знающих, провидящих все вплоть до самой смерти».

Этот естественный и святой порыв людей сохранить в себе человеческое посреди бесчеловечной войны поймет и суровый, строгий председатель колхоза «Зеленые Дворики» Грачев. Старший лейтенант запаса, лишившийся на Халхин-Голе ноги. И не только поймет — разделит с красноармейцами их участь, станет их комиссаром.

В своих размышлениях о мотивах подвига семнадцати автор и его главный герой выходят за рамки частного случая. Они думают о всеобщем, о законах человеческого характера, которые определяют судьбу. Вот один из внутренних монологов Дмитрия Чугунова. Честный, беспощадно искренний монолог человека, пытающегося найти истину. В самом деле, «почему тебе и шестнадцать твоим солдатам выпал жребий остаться только в открывшихся на расвете Зеленых Двориках, как же тогда все деревни, которые ты миновал, не оглядываясь? Если бы на это можно было ответить, как выстрелить... Твоя необходимость и делает тебя солдатом в последней инстанции».

Как видим, повесть А. Волошина по-настоящему философична. Это важная ее особенность. Это особенность почти всей нашей военной прозы, которая сегодня ставит своей задачей не только запечатлеть, зафиксировать бытие войны, но осмыслить нравственные истоки подвига. Увидеть вечное: то, как в череде испытаний, утрат человек становится личностью.

Последний бой своих героев А. Волошин описывает подробно, но с каким-то приглушенным трагизмом. Он доверяет самим читателям «подвести итог». Он спешит снова и снова взглянуть

ся в лица солдат, на которых скоро увидит печать смерти. Автор умеет передать динамику сражения. Мы воспринимаем его опосредованно — через восприятие Димы Чугунова. Прозаик находит достоверный и емкий прием — во время боя командир, волнуясь, сверяет происходящее с планом:

«Стоп, в овраге, стоп, Коля, помолчите секунду, не спугните.

До мостика десять... пять... три метра. Вот. Ну...»

Ах, Вася Агапкин, тебе это зачтется, за все прошлое и за все нынешнее».

А. Волошин умеет сказать и о самом утраченном — о предчувствии смерти, которое тоже нередко на войне. Он не боится высветить человеческую душу и в этот, всегда единственный момент. В день боя к Дмитрию приходят неожиданные, не свойственные ему мысли и ощущения: «Все было по-человечески, по-солдатски нормально; и несмелое солнце давно уже поднялось, и день обещал по-вчерашнему подняться в самое высокое поднебесье, а все какая-то тайная тоскливость сосала, нудила под сердцем — жалость, что ли, неосознанная к кому-то живому, близкому, кто не ведает ни своего часа, ни своей минуты». Это была неосознанная, невысказанная жалость к своим «товарищам по оружию» и самому себе. Ведь война, приводит нас к мысли повесть А. Волошина, страшна и ужасна тем, что нарушает извечный ход земного бытия. Они погибнут, навсегда уйдут из жизни, герои повести, а вместе с ними уйдет их несостоявшееся счастье, их весны, зимы, любовь, неродившиеся дети...

Как кадры кино, упорно повторяются — резки и четки — картины смерти героев. Смертями, как видим, плотно населена эта небольшая вещь А. Волошина. Такова ее суровая эстетика. Они уйдут один за другим со страниц повести и снова возникнут перед читателями. Они — это лейтенант Коля Трофимов: «... на бегу он запрокинулся навзничь и лежал теперь на песчаном бугорке, неловко подвернув черноволосую кудрявую голову. Пузырилась рваная рана поперек его тонкого горла, а в мальчишески открытом лице — ни кровинки». Коля Отконов, который «умер спокойно, убитый прямым попаданием в голову, под обрез линялой пилотки. Скрестил ладони, прижав к ним щекой и

умер». Это Дима Чугунов: «Боль вселенская, все высверливающая, полыхнула по всему телу, заболела, заняла сама земля под ним, даже шершавая рукоятка ракетницы калеными иглами ожгла ладонь».

В этих описаниях нет натурализма. Это жесткая правда, которая встает с каждой из страниц повести А. Волошина.

Повесть заканчивается, как заканчиваются по традиции трагедии. Бой затих, догорают Зеленые Дворики. И словно траурный флаг, висит над деревней «багровыми космами небо». И словно вестники грядущей победы, приходят на поле боя солдаты и-ской части — тоже выходящие из окружения. Все кончено. Уже свершили герои повести то, что было назначено им на веку. О судьбе погибших думает теперь «высокий военный в мятой фуражке, в командирских ремнях». Он стоял в «вечерней дымной мгле», и никто не видел, «как он открытым ртом вобрал в себя горьковатый пыльный воздух, как сделал трудное глотательное движение и сильно растер ладонью впалую грудь, где и у солдат положенный ему век бьется, а если немощоту — и болит, и саднит сердце».

Мы узнаем в этом майоре самого автора. Его взгляд на события придает повести иное качество, привносит строгий исторический фон. Он, автор, понимает и красоту, и известную будничность, и великий смысл того, что произошло в «Зеленых Двориках». Он (в отличие от своих героев) знает: впереди еще была большая война — и новые поражения, и бои под Москвой, и Сталинград, и весеннее знамя над рейхстагом в 1945-м...

«Время быть»... Так назвал свою последнюю книгу А. Волошин. Здесь сознательно не повторяется название ни одной из его повестей. Здесь есть и символ, и мужественный вывод человеческой, писательской жизни. Каждому поколению выпадает собственное «время быть» на земле. Своя поэзия, своя проза. Свое счастье, свое горе, свои испытания, наконец.

А. Волошин, написавший книгу о мужестве своего поколения и своего современника, кажется, напоминает молодому читателю 1970-х: вот и пришло уже ваше «время быть». Оно тоже никогда не вернется и не повторится, как всякое время.

Не пропустил его...



Р. Круссер

НЕГЛАСНЫЙ РЕДАКТОР «СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ»

*«На дальней родине моей
Обычный звук был звук цепей», —*

писал в 1883 г. сибирский поэт И. В. Оммулевский (Федоров). Отсталой окраиной царской России, краем ссылки и каторги — такой была Сибирь XIX столетия. Огромные тысячеверстные расстояния, недели и месяцы тяжелейшего пути отделяли сибиряков от культурных центров страны, где кипела общественная борьба и продолжались неустанные поиски правильной революционной теории.

В сложившихся условиях важную роль в общественной и культурной жизни Сибири сыграли политические ссыльные — представители трех поколений русских революционеров. Несмотря на все усилия, правительству не удалось изолировать их от сибирских трудящихся. Вопреки преследованиям и террору ссыльные несли в Сибирь новые идеи и понятия, приобщая местное население к достижениям передовой русской культуры и общественной мысли.

Сменялись этапы освободительного движения, менялся и состав ссыльных. В 70—80-е годы прошлого века большинство их составляли недавние участники «хождения в народ», землевольцы и народовольцы. За годы своего пребывания в Сибири многие из них внесли крупный вклад в дело укрепления ее связей с центральной Россией и вовлечения сибирских трудящихся в русло общероссийского освободи-

тельного движения. Заметное воздействие эта часть ссыльных оказала и на ряд сибирских газет того времени. Особенно тесно связанной с «политическими поднадзорными», как тогда называли ссыльных революционеров, была «Сибирская газета» — первая неофициальная газета Западной Сибири, издававшаяся в Томске в 1881—1888 гг.

«Сибирская газета» не сразу стала тем ярким изданием, которое так привлекало к себе внимание современников. Первоначально это была самая заурядная провинциальная газета, находившаяся под влиянием местной либерально настроенной интеллигенции. Ее представители стремились избежать «крайностей», отрицали необходимость революционной борьбы и свой идеал видели в дальнейшем развитии буржуазных реформ 60—70-х гг. Однако острая нужда в людях, знакомых с литературным трудом, очень скоро заставила их потесниться и открыть дорогу в редакцию политическим ссыльным. Под их влиянием направление «Сибирской газеты» начинает постепенно меняться. Ее страницы все чаще превращались в трибуну борьбы с произволом и угнетением, а подчас становились и местом революционно-демократической пропаганды, принимавшей в условиях цензурной печати различные завуалированные

формы. Политические ссыльные активно боролись с беззаконием чиновников, выступали в защиту крестьян, обличали деревенских богачей, грабителей своих односельчан.

Немало таких материалов было посвящено трудящимся Томской губернии, в которую, как известно, входила тогда и территория современного Кузбасса. Они рассказывали о бедствиях крестьян-переселенцев в Кузнецком уезде, о нечеловеческих условиях труда на золотых приисках Марининской тайги и борьбе рабочих против эксплуатации. Анализируя причины «приисковых беспорядков» в Марининском уезде, газета защищала рабочих, доказывая закономерность их выступлений при тех «отношениях между трудом и капиталом», которые существуют в золотопромышленности. Нищенская заработная плата, штрафы, рабочий день с 5 часов утра до 8 часов вечера, произвол начальства — все это превращало золотопромышленного рабочего, по словам газеты, в «выющую скотину, которой дано только время покормиться, но в отличие от скотины неразумной не дают достаточно времени на отдых».

Эти изменения в направлении газеты не ускользнули и от внимания высших правительственных учреждений. «Издаваемая в Томске, «Сибирская газета» в последнее время усвоила себе такое предосудительное направление, которое не может быть более терпимо в издании, выходящем в свет с разрешения предварительной цензуры», — заявляло уже 18 мая 1883 г. Главное управление по делам печати в отношении на имя томского губернатора.

Под чьим же влиянием развивалось в эти годы «предосудительное» направление «Сибирской газеты»? Кто возглавлял и направлял коллектив ее сотрудников и корреспондентов?

Анализ содержания газеты, а также документов сибирских архивов и архивных фондов Главного управления по делам печати убеждает нас в том, что таким негласным редактором «Сибирской газеты» становится в это время Ф. В. Волховский, выдающийся участник революционного народнического движения 70-х годов XIX в.

Феликс Вадимович Волховский (1846—1914 гг.) не случайно оказался во главе «Сибирской газеты». К началу 80-х годов он имел

уже солидный опыт революционной борьбы и пользовался заслуженным уважением среди своих товарищей. Еще в 1867 г. вместе с Г. А. Лопатиным (впоследствии одним из ближайших друзей К. Маркса) Волховский стал основателем революционной организации, которая по величине членского взноса получила название «Рублевого общества». В 1868 г. организация была разгромлена, а ее руководители арестованы. Лишь недостаточность улик спасла Волховского от суровой расправы, и после восьмимесячного тюремного заключения он был освобожден.

Но уже в 1869 г. последовали новый арест и двухлетнее пребывание в Петропавловской крепости. Правда, Волховскому и на этот раз удалось избежать обвинительного приговора, но жизнь его на воле была поставлена под строгий полицейский надзор.

В начале 70-х годов Волховский приобретает известность и как талантливый поэт-революционер. Его стихи «Нашим угнетателям», «Судьба русского поэта», «Кричи!..» и другие были пронизаны верой в победу революции, они звали молодежь на борьбу с деспотизмом, воспитывали ее мужество и стойкость. Долг революционера Волховский видел в неустанной борьбе за обновление родной страны, в готовности идти до конца ради ее свободы и счастья.

Преследования не сломили Волховского. Переехав в Одессу, он создает здесь революционный кружок, участники которого вели энергичную пропаганду среди одесской интеллигенции и рабочих. В 1874 г. полиции удалось проникнуть в тайну организации и большинство ее членов было арестовано. Среди них был и Волховский. Вскоре его перевезли в Петербург, где за ним надолго захлопнулись двери каземата Петропавловской крепости.

Новые лишения окончательно подорвали здоровье Волховского. В. Н. Фигнер, знавшая Волховского в молодости, вспоминая о своей встрече с ним в тюрьме, пишет: «Участник «процесса 193-х», ...он по внешности уже во время дознания казался стариком. Мне случилось тогда на несколько минут увидеть его на площадке у лестницы в Доме предварительного заключения... В арестантском халате, сгорбленный, с очень некрасивым желтым лицом, с се-

дыми волосами, он был настоящим призраком с того света. Я была поражена — в первый раз в жизни я видела человека, заморенного тюремным заключением...»

В январе 1878 г. Особое присутствие Сената приговорило Волховского к ссылке в Сибирь на поселение. Исполнение приговора началось в августе того же года...

Сибирский период в жизни Волховского продолжался более десяти лет. Из них особенно трудными были первые два года, проведенные им в Тюкалинске, небольшом уездном городишке Тобольской губернии. Энергичная натура Волховского не могла примириться с пустотой и скукой окружающей жизни. Его угнетало вынужденное безделье, бесцельно уходящие годы...

Я вынести могу разлуку
Со всем, что драгоценно мне.
Я вынести могу всю муку,
Все — одиночество, лишения,
Грусть по родному очагу,
В надеждах горькие сомненья —
Все это вынести я могу.
Но прозябать с живой душою,
Колодой гнить, упавшей в ил,
Имея ум, расти травой, —
Нет, это свыше всяких сил! —

писал он в это время в одном из своих стихотворений.

Вот почему с такою радостью была встречена им возможность переезда в Томск, один из культурных и общественных центров Сибири того времени, где издавалась «Сибирская газета» и открывались возможности для продолжения прежней борьбы, хотя и в иных формах и иными средствами.

В Томском областном архиве хранится дело «О государственном преступнике Феликсе Волховском». Его материалы позволяют нам уточнить некоторые обстоятельства и время переезда Волховского в Томск. Это был август 1881 г. Еще живы были впечатления о покушении народолюбцев на Александра II. Но революционная ситуация уже потерпела поражение, и в России наступал период самой разнузданной и дикой реакции.

Административный произвол и репрессии нарастали и в Сибири. Стараниями правительства ее территория все более превращалась в огром-

ную «тюрьму без решеток» для заточения сюда всех инакомыслящих. Усиливая надзор за «политическими поднадзорными», полиция жестоко карала все преступления ссыльных, все их попытки вести какую-либо агитацию среди сибирских трудящихся. В этих условиях работа в газете оставалась для них одной из немногих возможностей общения с местным населением, воздействия на его мысли и чувства. «Государственный преступник» Ф. В. Волховский прекрасно понимал это.

В Томске Волховский был радушно встречен небольшой колонией местных политссыльных. «Сибирская газета» находилась еще в стадии становления, и политические ссыльные не имели сколько-нибудь серьезного влияния на ее содержание. И только после вхождения Волховского в состав редакции вокруг него начинает складываться кружок единомышленников, во многом определивших дальнейшую судьбу «Сибирской газеты». Среди них были Д. А. Клименц, С. А. Чудновский, С. А. Жебунев, писатель К. М. Станюкович, сосланный в Томск в 1885 г. и ряд других участников революционного движения 70-х — начала 80-х годов. Многие из них активно сотрудничали в газете вплоть до ее запрещения в 1888 г.

Конечно, политические ссыльные и в эти годы не были единственными сотрудниками «Сибирской газеты». Ее официальным редактором почти все время издания оставался областник А. М. Адрианов. В газете печатали свои статьи и заметки В. Крутовский, П. Попов, А. Ефимов и некоторые другие представители либерально-областнической интеллигенции.

Несмотря на близкие позиции по отдельным вопросам (отношение к уголовной ссылке, борьба с административным произволом и др.), между этими группами не было и не могло быть единства. Революционно-демократическая идеология политических ссыльных, проявлявшаяся в их статьях и заметках, широкие политические обобщения и выводы, к которым стремился Волховский — все это было чуждо Адрианову и его сторонникам. Идеи противоречия находили свое отражение на страницах газеты, в ее содержании и публикуемых материалах. «В «Сибирской газете», — вспоминает народолюбец И. И. Попов, — постоянно боролись

два течения: сибирско-областническое, представляемыми которого были Адрианов и сибиряки, и радикально-социалистическое, проводимое Волховским... и другими ссыльными».

Однако, несмотря на эту борьбу, именно Волховскому и его товарищам газета была обязана своим успехом и небывалой популярностью у сибирских читателей. Политические ссыльные встали на защиту трудящихся. Умело используя страницы «Сибирской газеты» для обличения всего общественного и государственного устройства России, они будили критическую мысль и чувство протеста среди широких масс населения Сибири. «Все обиженные, униженные и оскорбленные, тайком, крадучись, приходили к нам с жалобами, фактами, обличительными документами», — вспоминал С. Жебунев*. В «государственных преступниках» население привыкало видеть своих защитников и с благодарностью относилось к их деятельности.

Своего наивысшего звучания обличительные тенденции «Сибирской газеты» достигают в выступлениях Ф. Волховского. Талантливый публицист, Волховский и в ссылке оставался непримиримым врагом самодержавия и социального гнета. Он не мог ограничить себя узкими областными интересами. И само участие в «Сибирской газете», по свидетельству современников, было для него ценным лишь постольку, поскольку этот орган являлся аренной обличений современного политического строя и его социальных язв.

Жестокая цензура 80-х годов нередко заставляла сотрудников говорить с читателями «эзоповским языком». Умело пользовался им и Волховский. Облекая свои мысли в форму фельетонов, «сказок», «святоточных новелл» и тому подобных произведений, он подписывал их самыми разнообразными псевдонимами. Под его влиянием отдел фельетона становится центральным отделом газеты, где освещались и дебатировались самые злободневные вопросы того времени. На эту новую и несколько необычную для того времени роль фельетона указывалось уже в программе газеты на 1883 г., составленной при участии Волховского.

* С. Жебунев. Отрывки из воспоминаний «Былое», май, 1907, с. 268.

Обобщая имеющиеся материалы, Волховский делал выводы, далеко выходящие за рамки сибирской действительности. Выступая с острой критикой современного ему общественного строя, он доказывал необходимость его ликвидации и проведения «коренных» социальных преобразований. Он пользовался любым поводом — приближающимся праздником, событиями общественной жизни, — чтобы в доступной форме начать разговор об этом с читателями «Сибирской газеты». В 1888 г., накануне масленицы, Волховский писал: «Пост и масленица распределяются между людьми вовсе не по времени, а по положению: одному круглый год пост, другому — масленица». Он не мог согласиться, что этому порядку в распределении жизненных благ, «поста» и «масленицы», не будет конца. «Нет, он должен быть и будет этот конец», — писал Волховский, выражая твердую уверенность в торжество иного социального строя.

Принципу буржуазного общества — «всяк за себя, а бог за всех» — Волховский противопоставляет иной принцип, «принцип... человечности и развития: «все за одного и каждый за всех».

В его фельетонах читатель находил уничтожающую характеристику российских «мякиных» либералов, готовых всегда идти на поводу «обстоятельств» и плыть по течению, «хотя бы то было помойное течение сточной канавы».

Как и его товарищи, Волховский много внимания уделял Сибири и прежде всего ее трудящимся классам. Анализируя их положение, он писал о полнейшем игнорировании интересов рабочих, об их чудовищной эксплуатации, как об одном из самых «печальных явлений» сибирской жизни. Его выступления побуждали задуматься над условиями общественной жизни, в результате которых рабочий теряет облик и права человека и превращается в «безгласную нельму», которую по-своему «используют и потрошат» предприниматели и их приказчики.

Фельетоны Волховского беспощадно обличают исправников, священников, писарей и прочих деятелей администрации, которые «как коты» жирели на народном горе, народном добре

и хлебе. Он писал о городском самоуправлении, далеко от интересов народа; выступал против схоластики и формализма в обучении детей; возмущался безобразной постановкой врачебной помощи, недоступной трудящимся, и т. д.

Волховскому удалось напечатать в «Сибирской газете» и ряд своих стихотворений. Он выступал в них как продолжатель демократической линии русской поэзии, защитник ее традиций и идеалов. В тяжелые годы реакции его стихи противостояли различным явлениям «чистого искусства», утверждали в сибирской литературе принципы реализма, понимание действительной роли поэтического слова. Полемизируя с поэтессой Ю. Жадовской, призывавшей уйти от жизни с ее суетой и тревогами и искать вдохновения в небе, Волховский писал:

Нет, на земле ищите вдохновенья:
Что небо нам? Что мир холодных звезд?
Им чужды наши страстные стремленья,
Им непонятен нашей жизни крест.

В активном отношении к окружающей жизни, борьбе за ее обновление Волховский видел одно из главных назначений русской поэзии. Он верил в конечные результаты этой борьбы, какой бы трудной и длительной она не была:

И хоть над нами вечно тяготее
Проклятие греха, ошибок, бед,
Но ведь среди них любовь и братство зреет
И истина свершает ряд побед!

Нет, на земле ищите вдохновенья:
Пусть слабы мы, но мы зато живем.
И жизни грешной к лучшему стремленья
Не заменить безгрешным неба сном!

Пробуждая сознание народа, его волю к борьбе, «суровые напевы» сибирских песен Волховского служили той же цели, что и вся его деятельность в «Сибирской газете». Это стмечал и сам автор, обращаясь к оценке своего творчества. Надо сказать, что некрасовская тема поэта-гражданина, поэта-борца, его ответственности перед народом неоднократно привлекала к себе Волховского. Звучит она и в его стихотворении «Песни сибирского поэта», которое как бы подводило итог поэтическим выступлениям Волховского в «Сибирской газете».

Не веселы сибирские напевы,
В них нет и нежных грациозных нот:
Под звук цепей свершенные посева
Способны ль дать блестящий, нежный плод?..

Но в самой их суровости угрюмой
Сквозь жесткость их стиха заметишь ты
Проникнутые мужественной думой
И мощь и благородные мечты.
Ни страха в них, ни лжи нет, ни сомненья.
Одна лишь честность диктовала их,
И молотом святого убежденья
Настойчивость ковала жесткий стих.
И этот стих, помимо звуков нежных,
К сердцам родным надежный путь найдет
И в них — ленивых, черствых иль небрежных
Оковы безразличья разобьет.

Выступления на страницах газеты дополнялись активным участием Волховского и других политссыльных в общественной жизни Западной Сибири, их дружескими связями с учащейся молодежью и прогрессивной интеллигенцией. Через редакцию «Сибирской газеты» в эту среду попадали нелегальные издания и революционные документы, распространялись идеи и цели русского освободительного движения.

Как и его ближайшие товарищи по редакции, Волховский стремился к тому, чтобы у читателей «Сибирской газеты» было ясное представление об ее направлении и преследуемых целях. Он видел их прежде всего в борьбе против порабощения воли одного человека другим, эксплуатации труда, невежества и дикости нравов, подчеркивая, что все эти «противообщественные» явления «суть неизбежная принадлежность и следствие» современного порядка вещей. Призывая читателей к активной борьбе с существующим злом, Волховский писал: «В известные времена, при известном порядке вещей... расчеты на смиренность не выдерживают никакой критики». Только непримиримых борцов за будущее России он считал достойным звания «истинных» патриотов.

«Истинный патриот,— разъяснял Волховский,— искренне желает своему народу добра... Он зорко всматривается в неурядицы родной страны и страстно клеймит их, зная, что пока худое не будет осознано как худое, до тех пор не будет побуждения к замене его хорошим».

Эти строки по существу могут стать эпигра-

фом к деятельности в «Сибирской газете» самого Волховского. По мере своих сил и возможностей он старался воспитывать в ее читателях сознательную ненависть к «худому» и горячее стремление к замене его «хорошим». Революционер-демократ, он верил в будущее Сибири и рисовал ее в образе прекрасной женщины, опирающейся на эмблему с начертанными на ней девизами братства, равенства и собственности трудящихся на орудия производства.

Развивая обличительное направление газеты, значительная часть редакции во главе с Волховским отнюдь не преувеличивала его роли. Отстаивая необходимость обличений, Волховский в то же время писал: «Да не подумает читатель, что в обличениях мы видим панацею от всех зол и бедствий... Нет, нам известно, что благодаря обличениям иногда меняются только обличаемые лица, вместо Петрова общественным захребетником делается Иванов». Иронизируя над тем шумом, который зачастую поднимался в обществе увольнением и сменой административных лиц, Волховский указывал, что все дело не в лицах, а в «системе», ибо «коль скоро система остается та же, то она может дать лишь те результаты, к которым по законам природы и логики она способна».

Однако, по мнению Волховского и его друзей, в условиях реакции 80-х годов обличения являлись главным и по существу единственным оружием подцензурной печати. Причем их важнейшее значение он видел не в обличениях отдельных лиц, а в доказательстве необходимости «коренных реформ». Из предыдущих высказываний Волховского видно, что эти так называемые «коренные реформы», мыслились им прежде всего как социальные преобразования, далеко выходящие за рамки областнических интересов.

Читая эти статьи Волховского, нельзя не отдать должное мужеству их автора, поставившего на страницах подцензурного издания вопрос о необходимости ликвидации всего общественного и государственного порядка современной ему России. Говорить такие вещи в условиях реакции 80-х годов, да еще находясь на положении ссыльного, мог решиться далеко не каждый.

Любопытно, что эта направленность обличительных статей «Сибирской газеты» довольно

точно была определена К. В. Плеве, занимавшим в то время должность директора департамента полиции. «Сибирская газета», — писал он 16 февраля 1884 г., — старается придать самым обыденным жизненным явлениям мрачную окраску, причем обличительное направление ее, видимо, клонится не к искоренению злоупотреблений, а стремится доказать несостоятельность существующего порядка. Это направление газеты, — продолжал Плеве, — тем более опасно, что в отдаленной окраине, где она издается, нет противовеса ее влиянию в других органах современной печати».

Демократические тенденции «Сибирской газеты», ее борьба с произволом и угнетением, объединили против нее реакционные силы не только Сибири, но и Центральной России. В 1887 г. газета была закрыта на восемь месяцев. В 1888 г. ее издание было возобновлено, но ненадолго. В июле 1888 г. распоряжением Министерства внутренних дел издание газеты было снова приостановлено. Возобновлять его правительство не собиралось.

Докладывая в январе 1889 г. министру внутренних дел Д. Толстому о необходимости полного запрещения «Сибирской газеты», начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов характеризовал ее как «один из наиболее неблагоприятных органов нашей печати». Феоктистов указывал, что фактическое распоряжение газетой находится в руках политических ссыльных, превративших ее редакцию в «притон» различных революционных элементов и кружков. 27 января 1889 г. Совещание министров внутренних дел, просвещения и юстиции, «обсудив общее направление издаваемой в Томске «Сибирской газеты» и находя его безусловно вредным», приняло решение о ее полном прекращении.

Тяжело складывалась в это время и личная жизнь Волховского. Незадолго до закрытия газеты, в припадке тоски по родине и покинутым близким покончила жизнь самоубийством его жена Александра Сергеевна. В 1887 г. переехал в Иркутск старый друг Волховского — С. А. Чудновский. Путешествуя по Сибири, все более отдавался научным исследованиям Д. А. Клеменц — один из ближайших товарищей Волховского по редакционной работе в газете.

Волховский понимал своих друзей и сочувственно относился к их новой деятельности. Но сам он не чувствовал склонности к научным занятиям и по-прежнему не представлял себе жизни без революционного дела, которому он служил уже более 20 лет.

В сложившейся обстановке Томск перестал интересовать Волховского, и 13 марта 1889 г. он выехал в Иркутск. Вероятно, его привлекала возможность участия в иркутской газете «Восточное обозрение», которая объединяла вокруг себя довольно значительную группу политических ссыльных Восточной Сибири. Но судьба его сложилась иначе.

Почти одновременно с прибытием Волховского в Иркутск здесь была получена и аттестация его томскими властями, направленная по месту его нового жительства. Знакомая с деятельностью «Сибирской газеты», администрация Восточной Сибири увидела в Волховском опасного врага и постаралась его обезвредить. Сразу же после прибытия в Иркутск (26 марта 1889 г.) он был взят под надзор губернского жандармского управления. Его особой заинтересовался и сам генерал-губернатор Восточной Сибири граф Игнатьев, который потребовал установить за ним «самое строгое негласное наблюдение».

Весьма недружелюбно был встречен Волховский и деятелями сибирского областничества во главе с издателем «Восточного обозрения» Н. М. Ядринцевым. С надеждами получить работу в газете скоро пришлось расстаться. «Ядринцев содрогнулся перед ужасами моего сотрудничества», — писал Волховский Клеменцу 7 июня 1889 г., сообщая о полной неудаче своих переговоров с Ядринцевым, не решившимся ввести его в состав сотрудников «Восточного обозрения».

Лишенный возможности жить литературным трудом, Волховский пытался устроиться на службу в один из иркутских банков, но вскоре был оттуда уволен. Положение его становилось критическим. В середине июня Волховский получил новое предписание Игнатьева, который требовал немедленного удаления его из Иркутска. Волховскому с трудом удалось добиться отсрочки своего отъезда на месяц. 16 июля 1889 г., получив проходное свидетельство, он

выехал в Троицкосавск, надеясь, что там о нем позабудут. Но и здесь повторилась старая история. Военный губернатор Забайкальской области категорически отказался разрешить Волховскому жить в Троицкосавске, опасаясь его влияния на местную молодежь. Поняв, что ему не избавиться от преследований, Волховский решил уехать на Дальний Восток и отсюда бежать за границу.

План побега был прост. Самое сложное заключалось в том, чтобы суметь нелегально переправиться в Японию. Отсюда уже не представляло труда добраться до Америки и Европы. 16 августа 1889 г. Волховский выехал во Владивосток...

Долгое время о намерениях Волховского знали только его ближайшие друзья. Когда же побег был открыт, Волховский был уже вне пределов досягаемости российских властей.

Революционная деятельность Волховского продолжалась и в годы эмиграции. Вместе с С. М. Кравчинским* он участвовал в организации заграничного «Фонда Вольной Русской Прессы» и английского общества «Друзей русской свободы», долгое время был ближайшим помощником Кравчинского по изданию газеты «Русская свобода». Эта деятельность русских революционеров знакомила европейскую общественность с историей освободительного движения в России и была положительно оценена Ф. Энгельсом.

Личность Волховского представляет для нас особый интерес ввиду его решающего влияния на направление «Сибирской газеты». Об этом единодушно свидетельствуют современники, называя Волховского «украшением газеты» и ее главным вдохновителем. На «негласное заведование» Волховским редакцией «Сибирской газеты» неоднократно указывал и начальник Томского губернского жандармского управления, который считал его личностью крайне опасной.

* С. М. Кравчинский (псевд. — Степняк) — русский революционер-народник, автор ряда книг о России и русских революционерах: «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов» и др. В 70-х годах вел пропаганду среди рабочих Петербурга и крестьян центральных губерний. 4 августа 1878 г., мстя за гибель товарищей, убил шефа жандармов генерала Мезенцева, после чего был вынужден скрыться за границу. В эмиграции вел активную пропаганду идей русской революции, был дружен с Ф. Энгельсом.

И надо сказать, что у сибирской администрации были весьма веские основания для того, чтобы ненавидеть и преследовать Волховского. Именно под его руководством «Сибирская газета», несмотря на террор реакции, пыталась продолжать лучшие традиции русской периодической печати. С незаурядным мужеством и мастерством он использовал ее страницы для защиты интересов трудящихся, борьбы против

деспотизма и угнетения. Талантливый организатор, Волховский сумел привлечь к газете целую группу своих друзей и единомышленников. Под их влиянием «Сибирская газета» стала заметной вехой в общественной жизни Сибири и одной из ярких страниц в истории передового демократического направления русской культуры.

Литературные пародии

Вадим Назаров

Но гнезда вить
Готовятся клесты,
Вот-вот должны
Медвежата... родиться

Людмила Татьяничева,
«Январское солнце»

Покрыты рыхлым снегом все кусты,
Сугробы высятся, как царские палаты,
Но гнезда вить готовятся клесты —
У них должны родиться медвежата.
Бедняга клест головку опустил:
«Как прокормить лохматых ребятишек?
Но а тебя, медведь, я не простил —
Поняничишь, блудня, и моих детишек!»

Льдины чокаются в реках,
Зимних дней броню
Дробя.

Михаил Небогатов,
«Сердцу милая пора»

Загуляли как-то льдины
В яркий солнечный денек,
Заглянули в магазины
И купили пузырек.
И пошло веселье в реках,
Зимних дней броню дробя —
Льдины треснули от смеха,
Прочитавши про себя.

Поднагулявши аппетит,
Идут по крышам кошки-блудни,
И человечество кряхтит,
Впрягаясь в яростные будни.

Леонид Торгаев,
«Утро»

Прошли веселенькие дни,
Настали яростные будни,
Но не без творчества они —
Их заполняют кошки-блудни.
Поднагулявши аппетит,
По крышам с кошками шагаю...
А человечество кряхтит,
Когда стихи мои читает.

г. НОВОКУЗНЕЦК

Наши авторы

Зубарев Валерий Федорович, родился в 1943 году в с. Кайлы Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор сборников стихов «Говорил со мною ветер...» и «Магнитное поле».

Член Союза писателей.

Живет в Прокопьевске.

Скорик Любовь Трофимовна, родилась в Дзепродзержинске. Окончила Томский государственный университет. Работает редактором областного радио. Публиковалась в альманахе «Огни Кузбасса».

Раевский Александр Дмитриевич, родился в 1951 году. Работает пожарным на Запсибе. Публиковался в журнале «Сибирские огни», в альманахе «Огни Кузбасса».

Климичев Борис Николаевич. Автор поэтических сборников «Красные тюльпаны», «Валторна за стеной» и «Тихий свет».

Член Союза писателей.

Живет в Томске.

Яковлев Сергей Константинович, родился в 1950 году в селе Воронина Пашня Томской области. Служил в армии. Печатался в газетах, в журнале «Молодая гвардия».

Живет в Томске.

Моисеев Виктор Максимович, родился в 1939 году в г. Ирмино Ворошиловградской области. Журналист, работает в редакции газеты «Кузбасс». Публиковался в периодической печати, в альманахе «Огни Кузбасса».

Цейтлин Евсей Львович, родился в 1948 году в г. Омске. Окончил Уральский государственный университет. Критик, публиковался в «Литературной газете», в журналах «Новый мир», «Сибирские огни», «Урал» и др. Автор книги «Беседы в дороге». Всеволод Иванов — литературный наставник, критик, редактор.

Живет в Кемерове.



ТЕЛЕГРАММА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ГЛУБОКО СКОРБИМ ВМЕСТЕ ВАМИ ТЯЖЕЛОЙ УТРАТЕ БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЕ ЛАУРЕАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА НИКИТИЧА ВОЛОШИНА С НАМИ ОСТАНУТСЯ ЕГО ПРЕКРАСНЫЕ КНИГИ ПАМЯТЬ О НЕМ НАВСЕГДА СОХРАНИТСЯ НАШИХ СЕРДЦАХ. ПРОСИМ ПЕРЕДАТЬ ИСКРЕННИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ ПОКОЙНОГО. -МИХАЛКОВ, БОНДАРЕВ, АЛЕКСИН, КОМАРОВ. ПОВОЛЯЕВ, ШЕВЧЕНКО, ШУНДИК.

ПАМЯТИ ДРУГА

31-го мая, в последний день весны, земля кузнецкая прощалась с одним из своих любимых писателей, воспевающим ее красоту и самоотверженный труд ее замечательных людей, лауреатом Государственной премии СССР Александром Никитичем Волошиным.

Есть что-то до боли знаменательное в том, что Александр Волошин ушел от нас вместе с весной — он сам был весной кузбасской литературы, он первый представил отечественному и зарубежному читателю новых героев, горняков нашего края, убедительно показав, в чем именно состоит их самобытность и привлекательность.

Он стоял у самых истоков нашей писательской организации. Его постоянное внимание к молодым литераторам, забота о них были тем фундаментом, на котором организация быстро росла и набирала силу. Каждый из нас потерял вместе с ним что-то свое, глубоко личное — настолько прочными были наши связи с ним, с его щедрым и талантливым сердцем.

Александр Волошин умер за рабочим столом, в окружении рукописей, своих и чужих. До последнего дня тянулась к нему молодежь, и уже известные в Кузбассе и за его пределами авторы считали честью для себя удостоиться его справедливой оценки. Честью — и строгим экзаменом.

Альманах, который вы сегодня держите в руках, тоже во многом обязан ему своим рождением, развитием и становлением.

Он был нашим Учителем и Другом.

Он останется таким навсегда.

ПИСАТЕЛИ КУЗБАССА

Цена 50 коп.



КЕМЕРОВО 1978